

#1

АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ

«Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом — именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего».

Анна Наринская

«Чудесная книжка. Художники и современное искусство вообще выходят у Боровского много интереснее, чем они есть на самом деле».

Михаил Пиотровский

РАЗГОВОРЫ ОБ (НЕ ОТНЯТЬ) ИСКУССТВЕ



☰ «Читаю А. Боровского давно — как художественного критика, одного из совсем немногих, которого читать интересно.

«Про жизнь» он пишет так же увлекательно и иронично, как и «про искусство». Стас Намин

Table-Talk

Александр Боровский
**Разговоры об
искусстве. (Не отнять)**

«Издательство АСТ»

2018

УДК 73/76
ББК 85.1

Боровский А. Д.

Разговоры об искусстве. (Не отнять) / А. Д. Боровский —
«Издательство АСТ», 2018 — (Table-Talk)

ISBN 978-5-17-101617-3

Александр Боровский – известный искусствовед, заведующий Отделом новейших течений Русского музея. А также – автор детских сказок. В книге «Не отнять» он выступает как мемуарист, бытописатель, насмешник. Книга написана в старинном, но всегда актуальном жанре «table-talk». Она включает житейские наблюдения и «суждения опыта», картинки нравов и «дней минувших анекдоты», семейные воспоминания и, как писал критик, «по-довлатовски смешные и трогательные» новеллы из жизни автора и его друзей. Естественно, большая часть книги посвящена портретам художников и оценкам явлений искусства. Разумеется, в снижающей, частной, непретенциозной интонации «разговоров запросто». Что-то списано с натуры, что-то расцвечено авторским воображением – недаром М. Пиотровский говорит о том, что «художники и искусство выходят у Боровского много интереснее, чем есть на самом деле». Одну из своих предыдущих книг, посвященную истории искусства прошлого века, автор назвал «незанудливым курсом». «Не отнять» – неожиданное, острое незанудливое свидетельство повседневной и интеллектуальной жизни целого поколения.

УДК 73/76
ББК 85.1

ISBN 978-5-17-101617-3

© Боровский А. Д., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Чета Арнольфини	7
Доктор	9
Душечка	10
Древнеримское	11
Монетарное	12
Разговор	14
Драчун	15
Арбузы от Тубли	17
Яички в 1960-м году	19
Сильный старик	22
Цанка	24
Бабушка	26
Дамба	27
Река-море	30
Генерал	34
Фантики	36
Телесные и ментальные	38
Где наше ни пропало	40
Биограф	41
Гольшки в Мраморном	42
Профессор Каганович	43
Поезд	44
Честный Гайгер	49
Пыль. Рассказ доктора В. Журбы	50
Былое	51
Профессионал	52
Пространство допусков	55
По памятным местам	57
Раздача слонов	58
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Александр Боровский

Разговоры об искусстве

© Александр Боровский, текст

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Английское словосочетание Table-talk связано для нас в первую очередь с Пушкиным. Папка с такой надписью была обнаружена среди его бумаг и собранные там заметки традиционно публикуются под этим названием. Эти тексты легче всего определяются словом «анекдот», только не в его теперешнем, а в тогдашнем понимании, объединявшем историческое свидетельство, остроумно высказанную мысль и, наконец, как и сегодня – смешной рассказ с неожиданным концом.

Считается, что и название, и идея сборника таких текстов подсказана Пушкину книгой знаменитого английского романтика Сэмюэла Колдриджа, которую – это точно известно – он купил 17 июля 1935 года (примерно тогда же он начал собирать в папку листы с собственными записями). Впрочем и Колдридж тут не первооткрыватель – table talk это в принципе жанровое определение эссеистически-вспоминательно-остроумных заметок, причем каждый автор «разворачивал» этот жанр в интересную для него сторону (в библиотеке Пушкина, например, имелась книга эссеиста Уэльяма Хэзелитта с таким же названием – она вышла раньше колриджевской и состояла из серьезных статей на этические темы).

Пушкинский Table-talk, который, действительно в какой-то мере, напоминает подготовительные материалы к застольной беседе, в полной мере отражает его интерес к прошлому, показанному, как он сам формулировал, «домашним образом». То есть через рассказ о небольших происшествиях, через воспоминания об остроумных, но не великих разговорах, через описания людей прошлого «в мелочах» с их слабостями и корявостями. Только так – опять же по словам Пушкина – история может быть показано современно.

Поэтому в пушкинском tabl-talk'e и примыкающим к нему «Разговорам с Н. К. Загряжской» заметки о влиянии Гете на Байрона или о происхождении арабских цифр соседствует с пересказом шуток Гнедича и Дельвига, записями воспоминаний о нравах двора Екатерины и Петра и воспоминаниями лицейской юности. Эти несколько десятков записанных «реплик» предьявляют и связь времен и их разрыв. Возможность (почти всегда) посмеяться произнесенной сто лет назад шутке куда отчетливей любых историко-социологических выкладок демонстрирует то, что люди вообще-то не меняются. Невозможность (тоже почти всегда) соответствовать делам и поступкам прошлого показывает, что все-таки – меняются очень.

Начиная (вернее, возобновляя) серию Table Talk, мы предлагаем как раз такой подход. Ненапыщенные записки о недавнем и относительно давнем прошлом – именно так современность может поглядеться в зеркало прошедшего.

Анна Наринская

Чета Арнольфини

Мне лет десять. Гурзуф, Дом творчества художников. Там был директор, крупный, ядреный, не старый еще человек, седовласый. Отличался, по контрасту с благородной внешностью, чрезвычайной угодливостью к художникам «в силах»: академикам, секретарям творческих союзов и пр. Встречал, провожал, подсаживался в столовой. Моим родителям он чрезвычайно не нравился: во-первых, пытался не пускать меня в номер – якобы детям нельзя. На самом деле детям начальников было можно. Меня же и других не номенклатурных детей втаскивали в окна первого этажа на простынях, поначалу и до того доходило. Потом утряслось. Но главное, директор раздражал именно этой искательностью, уже несколько старомодной по тем временам. Он перебарщивал, это и старшие товарищи понимали. Однако принимали с улыбочкой: чего же вы хотите – старая школа, отставной энкаведист. И тут происходит следующее. Приехала отдыхать художница из Киева, старая еврейка (это я потом из разговоров родителей узнал, но не очень тогда представлял, что это слово значит), больная, с трудом поднимавшаяся по ступенькам. Не номенклатурная – директор ее не встречал. Случайно столкнулись в вестибюле. И мы там оказались, шли с пляжа, что ли. И вот эта пожилая женщина, увидев директора, впала в истерику.

– Это он, он пытал меня в тюрьме в Могилеве, перед войной. Подлец, инвалидом сделал. Это он, старший лейтенант такой-то.

Что-то на о... Криворученко? Не помню... Кстати, у директора была другая фамилия, что не удивительно, как я теперь понимаю. Кадры берегли. Тех, кого не расстреляли под горячую руку на антибериевском пике, снабдили новыми фамилиями и пристроили втихую на хлебные места.

– Помнишь меня, мерзавец?

Директор, надо сказать, отнесся ко всему хладнокровно. Видно, не впервой ему попадались бывшие: все-таки дом творчества художников, контингент сложный, засоренный. Он бочком-бочком ретируется. И попадает в руки к оказавшемуся рядом отцу с его физической крепостью и всегдашней готовностью дать плохому человеку по морде. В данном случае подогреваемой очевидностью ситуации: сталинский палач, холеный и сытый, жертва-инвалид. Время хрущевское, антикультовый заряд еще не иссяк. К тому же гад: пытался ребенка не пустить в комнату, а перед всякой сволочью выслуживается... Кара была неотвратима. Даже энкаведист смирился и кричал что-то совсем уж неприличное:

– Не я это был, обознались. – И отцу: – Ответите!

Даже мама не делала запретительных жестов. Собиралась небольшая толпа художников. Сочувствующих директору не находилось. Даже помощники отцу выискались. И уже белая холщовая рубашка директора (под поясok, тогда уже казавшаяся старомодной, безобидно бухгалтерской, из фильмов тридцатых годов) затрещала. И первый раз по загревку дали – хлопок такой резкий прозвучал. И тут появляется фигура Андрея Андреевича Мыльников. В пляжной пижаме. Он уже, кажется, был академиком и лауреатом, профессором уж точно. Он удивительным образом сочетал в себе высокого эстета, эдакого прерафаэлит, и ленинградского убежденного карьериста. Конечно, и у него бывали срывы. На каком-то высоком съезде он выступал с речью от лица творческой общественности. Доверительно обращаясь к старцам президиума, сидевшим на возвышении под портретом Ленина его работы (эта чеканка на металлическом занавесе Дворца съездов присутствовала в телекартинке почти постоянно: в Кремле заседали и отмечали в режиме non-stop), он совершенно неожиданно вспомнил пушкинское: «Нет правды на земле. Но правды нет – и выше». Слава Богу, это уведомление не было воспринято дремлющими старцами адекватно, Андрею Андреевичу повезло. Но в целом он строго соблюдал баланс. Такой вот этактический эстетизм. Словом, человеческий и творческий

тип был незаурядный. Так вот, Андрей Андреевич подошел неслышно. Он мгновенно оценил ситуацию. Не то чтобы он сочувствовал энкаведисту, вовсе нет. В ленинградской интеллигенции, даже успешной и чиновной, жила затаенная ненависть к этому сословию. Были причины. Опытный Мыльников с ходу просчитал последствия. Скандал с возможными политическими нюансами никому не был нужен. Тем более скандал в его присутствии. Барски снисходительно он взял отца под руку. И показал на старинные напольные часы (Бог знает, откуда попавшие в Дом творчества). Там, на бронзовом круглом маятнике, как в мутном выпуклом старинном зеркале, отражалась, с небольшим искажением, вся эта группа.

– Посмотрите, Дима, вылитый Ян ван Эйк. Чета Арнольфини.

С этими словами он достойно удалился. После такой высокой эстетической планки бить гада было уже несподручно. Дали пинка, и он исчез. Недели на две. Новую смену он уже встречал как ни в чем не бывало: заискивал перед начальниками, отчитывал рядовых членов творческого союза. Пятьдесят лет прошло. Отца и матери уже нет. Мыльникова тоже. И когда бываю в Лондоне, в Национальной галерее, и когда просто попадетя под руку репродукция, внимательно рассматриваю «Портрет четы Арнольфини»: молодой негоциант с женой, и на заднем плане – круглое зеркальце. Там эта пара, соответственно, изображена зеркально, зато виден художник в тюрбане и еще какой-то человек. И все. И никакого ответа.

Доктор

Подростком, как все ленинградские дети, часто болел ангиной. До сих пор вызывает неприятное чувство слово «Максимилиановка», так называлась единственная платная поликлиника, куда меня возили на такси, закутанного с ног до головы. Максимилиановские уколы в миндалины не помогали. Родители стали искать других врачей. Помню одного старичка, какого-то совсем старорежимного – тяжелое пальто, галоши, медицинский саквояж. Он был такой старый, что родители, похоже, усомнились: годен ли? Папа с некоторым сомнением снимал с него пальто: не проще ли сразу как бы незаметно – этой процедуры в то время стеснялись – положить в карман бумажку и проводить восвояси. Разоблачившись, старик развил бурную деятельность: потребовал воды, полотенце, серебряную ложку. Осмотрев дитяти горло, отмахнулся от вопроса об уколах, чем сразу мне понравился. Он прописал что-то совсем несусветное – ножные ванны с алюминиевой стружкой и чем-то там еще (к слову сказать, помогло). Так и обошлось без уколов и операций). Затем ему накрыли чай, и они с бабушкой, которая неожиданно прониклась к нему симпатией, стали очень мило беседовать про старые времена. Я запомнил такую историю.

– Мой незабвенный папочка был уважаемым еврейским аптекарем, – начал старик. Бабушка посмотрела на него с сочувствием, ожидая понятного каждому советскому человеку драматического развития событий. Но рассказ оказался оптимистичным. – Настолько уважаемым, что был избран осенью 1914 года в делегацию, которая должна была засвидетельствовать правительству поддержку в начавшейся войне. Все народности империи прислали такие делегации, и евреи, конечно, тоже. Царь принял эту делегацию и даже поблагодарил евреев за верность. – Бабушка одобрительно покачала головой. – Так вы представляете, в Виннице, в середине тридцатых мой незабвенный папочка, уже очень старый, останавливал трамвай. Просто помахав тростью – его все знали. И вот он, не торопясь, входил в вагон, всегда с передней площадки. Останавливался, перекладывал палку в левую руку, а правую поднимал и показывал ладонь пассажирам: «Евреи, эту руку пожимал Николай Второй!».

Душечка

Тип чеховской душечки у меня ассоциируется с одной искусствоведшей, Аленой Н. Очень милой женщиной, знающей, работавшей в московском музее. Я позвонил ей – дело было лет тридцать назад – после какого-то вернисажа, выпивший. Люди мы не местные, питерские. Как-то не озаботился, где в Москве переночевать, ну и напросился. Времена были легкие. К тому же знал, что она замужем. Так что никаких подводных камней быть не могло. Она легко согласилась, правда, предупредила: муж у нее уже другой, не тот, которого я знал, и просила ничему не удивляться. И вот я в квартире, раскланиваюсь с мужем, молодым человеком довольно странного вида: он был бородат; несмотря на позднее время и домашнюю ситуацию, одет в ветровку и вообще напоминал бесконечно далекий от нашего круга типаж итэ-эровцев-туристов, из этих, «с гитарой за туманами». Вообще казалось, он только от костра, от мошкары, пропахший дымом... О дезодорантах большинство населения СССР вообще тогда не слышало... Как обещано, я не выказывал удивления. Но в комнате (а это была большая комната в коммуналке) раскрыл рот: посередине стоял большой надувной плот с какой-то – не знаю, как это называется, – каюткой-шалашиком посередине.

– Ты не удивляйся, – сказала Алена. – Мы теперь плотогон. То есть мой муж плотогон, капитан плота, а я так, но экзамен на судовождение (или, скорее, плотовождение) уже сдала... По-настоящему будет, конечно, большой плот, а не надувной матрас, это мы так, привыкаем. Весной сплавляемся.

Мне постелили в коридоре на диванчике. Сами хозяева полезли в каюту-шалаш. Привыкали. Спал я плохо: снился то ли Енисей, то ли Ангара, бревна под ногами ходили. Под утро, никого не разбудив, крадучись, ушел. С огромным облегчением. Пару лет звонить побаивался. Встретились в Третьяковке на очередном вернисаже. Алена доложила, что все нормально, карьера в порядке, но муж уже другой. Говорила с таким нескрываемым трепетом, что я побоялся спросить – кто, чем занимается? К чему привыкают? Душечка!

Древнеримское

Как-то утром мы с моим дорогим другом, великим фарфористом Андреем Ларионовым ощутили общую потребность поправиться. Вышли из моей мастерской, располагавшейся в последнем доме по переулку Матвеева, и быстрым шагом дошли примерно до того места, где сейчас расположена чудовищной архитектуры Вторая сцена Мариинки. Мы твердо знали, что к одиннадцати часам туда подвозят пиво. Очередь уже была. Она состояла из стариков с удивительными лицами: плешивые, выразительно очерченные головы, высокие лбы, орлиные взоры, брезгливые складки губ, брыли, лежащие на воротниках. Старики, не обращавшие на нас никакого внимания, были погружены в себя. Друг с другом они тоже не говорили, разве что обменивались взглядами. Было ясно: давние знакомцы, все между ними уже сказано-пересказано... Эти мятые лица обладали какой-то древнеримской значительностью: губернаторы провинций, полководцы. Сенаторы. Бери выше – диктаторы.

– Сулла, – прошептал Андрей.

Мы удивительно чувствовали настрой друг друга. Мне же явные черты упадка напомнили о «солдатских императорах». Я отозвался:

– Максимин Фракиец, Бальбин.

Нет ничего более оживляющего историческую «эрмитажную» память, чем эти минуты перед розливом пива. Продавщица в халате уже работала краном. Первая струя плеснула в первую толстого стекла кружку. Я на какое-то время выпал из реальности.

– Что же вы, молодой человек? – Поставленный раскатистый голос вернул меня в нужное место. – Помогите же!

Я не сразу понял, что от меня требуется. Оказалось, у стоявшего впереди меня патриция руки ходили ходуном, настолько, что он не мог удержать кружку. Надо было ему помочь, поднести кружку ко рту. Я, естественно, помог своему, то есть ближайшему ко мне, старцу. Андрей – своему. Отхлебнув, старики почувствовали себя лучше, дрожь в руках улеглась.

– Благодарствую, – произнес «мой», забирая кружку.

Мы долго оставались под этим древнеримским впечатлением. Военными императорами периода упадка были отставные актеры Мариинки. Оперные или балетные, мы так и не узнали.

– Точно оперные, – сказал мне, прочитав этот текст, приятель-театрал, Сергей Аркадьевич Полотовский. – Балетные уходят на пенсию сравнительно молодыми.

Так-то оно так, но вдруг тоже подтягиваются на старости лет поближе. К своей бочке с пивом.

Монетарное

Двор, в котором я рос, был закрытым со всех сторон, укромным. Чужие здесь не ходили. А если как-то проскальзывали, то это нами, мелюзгой, воспринималось как событие. Однажды просочился такой вот чужой мальчик. Он был не то чтобы намного старше меня, семи-восьмилетнего. Но гораздо более бывалым, авторитетным, ученым жизнью. Он был в кепке и как-то цыкал сквозь зуб. Как в фильмах, которые я видел много позже, цыкают блатные. Мы играли в ножички, он даже не победил нас всех, а покорила походя, как усталый хан Бату каких-то незадачливых юных древнерусских князей. Он выказывал усталость и пресыщенность. Ему было скучно. Мы были готовы отдать ему наши благополучные, неокрепшие, мечтательные души. Где-то вдалеке замаячил дворник, и паренек исчез. Снова он просочился во двор дня через два. Случайно или нет (скорее, второе – я представлял собой слишком очевидный тип мечтателя и раззявы, предельно далекого от материальной стороны мира), он отвел в сторонку именно меня.

– Скажи, братан, – я расцвел от самого звучания этого слова, – у тебя на хате есть чего-нибудь интересного?

Я мучительно рылся в памяти: что интересного можно найти у нас дома. Решительно ничего интересного. Разве что дедушкин трофейный немецкий кортик? К счастью, вспомнил о старинном альбоме с марками в кожаном переплете. У нас никто марки не собирал, значит, – доставшемся от многочисленных погибших родственников.

– Годится, – сказал бывалый. – Слетай, покажь. – Я мигом обернулся. Бывалый презрительно просмотрел альбом. – Дерьмо (я внутренне вздрогнул и от непроизносимости в моем мире этого слова, и от понимания, что не оправдал доверия, попал впросак). – Ладно, не бойсь. Беру. За деньги, заметь. Я не отбираю. Ты мне – это свое фуфло, я тебе – монеты. Смотри: много.

Я, видимо, действительно выглядел идиотом. Папуасом, которому белый человек всучивает зеркальце. Карманные деньги мне еще не выдавали, и я о денежном обращении имел довольно смутные представления. Бывалый снял с меня берет (этот знак благополучного детства, я, естественно, терпеть не мог) и отсыпал в него серебряных монеток. Много – настолько, что когда я относил их домой, пришлось держать за самые края.

– Лады?

Мы чинно распрощались. Я понес деньги домой. К нашему четвертому этажу призадумался. У меня росла уверенность, что маме и бабушке не очень-то понравится мое коммерческое предприятие. То есть совсем не понравится. Я мудро решил оставить объяснения на потом. Ссыпал монетки на лестничной площадке, где-то сбоку от входной двери, и побежал во двор доигрывать. За сохранность я не беспокоился – на нашей стороне площадки больше дверей не было, соседи напротив, через площадку, постоянно были в отъезде, этаж наш был верхний, так что мимо никто не проходил. Однако всю игру что-то смутно тревожило меня. Причем – прекрасно помню – тревожил не результат моей операции, то есть не то, обманули ли меня. В глубине души я уже понимал, что надули. Но это бы мои легкомысленные родители простили легко. Волновал этический смысл: вправе ли я вообще был вступать в коммерческие отношения, прилично ли это? Вот так воспитывали в те годы, по крайней мере, в таких семьях, как наша. Интуиция не подвела. Уже на первом этаже я почувствовал неладное. В лестничный проем что-то сыпалось. Я поднял глаза – где-то на самом верху я увидел бабушку. Она стояла, опершись на перила, и носком изящной туфельки (бабушке в ту пору было немногим за пятьдесят, она хорошо одевалась, следила за собой и вообще, как я сегодня понимаю, была очень хороша) стаскивала мои монетки. Вниз. Целый ручеек монеток пролетел мимо меня, рассыпаясь после удара по полу. К тому времени, когда я доплелся наверх, он уже иссяк. Бабушка повернулась

и вошла в дверь, так ни слова мне и не сказав. Мы обедали как ни в чем не бывало. Но я в этот день твердо усвоил, что по коммерческой линии не пойду. Не мое это дело.

Разговор

В 1950-е у Союза художников был Дом творчества где-то под Комарово, на берегу залива. Несколько финской постройки зданий. Столовая, из которой еду приносили в судках. Сад и парковая скульптура – медведица с медвежатами. Нашел даже снимок: я, четырех-пятилетний, на этом медвежьем фоне. Мне всегда казалось, медведи финской довоенной работы. Недавно мой старинный дружок Миша Воробьев напомнил, что это работа его отца. Замечательный анималист Борис Воробьев изваял эту группу из цемента с песком, в качестве арматуры использовал брошенные трубы. Вот ведь тяга была к безыдейной, не культовой скульптуре: без заказа сделано, на свои и «для своих». Ну да ладно. Вот мое воспоминание года так 1958-го. На скамеечке под деревьями моя бабушка, Тамара Дмитриевна, и высокий бородатый старик в теплом не по сезону пальто. Пальто запомнилось еще и потому, что старик этот научил меня песне, которая потрясла мою детскую душу. Песня была примерно такая: «Мама, мама, чего мы будем делать, когда наступят зимни холода? Ведь у тебя нет теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта». Несмотря на строгие выволочки от бабушки, я эту песню затягивал, где только мог. Так вот, мы, мелюзга, во что-то там играем на лужайке, пожилые беседуют. Как я теперь понимаю, старик, Петр Дмитриевич Бучкин, ученик Репина, академик живописи, профессор, любезничает с бабушкой, по нынешним понятиям, вполне молодой дамой. К тому же общепризнанной красавицей.

– Экая вы, Тамара Дмитриевна, брюнетка. Вы, часом, не кавказских ли кровей?

– Я, Петр Дмитриевич, как вам прекрасно известно, русская дворянка. А вы как были тверским мужиком, так и остались. Даром что художник хороший и даже академик.

Разговор был вполне шуточный и, видимо, не раз повторявшийся.

– Эх-хе-хе, – Бучкин делано пугливо оглядывался по сторонам. – Как-то вы смелы сегодня, Тамара Дмитриевна. Как бы кто не услышал. Эх завернули... Хоть вы и при муже таком генералистом, а все-таки... Дворянка... Постреляли вашего брата немало... – Тут он погрустнел и добавил: – и нашего тоже.

Вот ведь запомнилась младенцу эта шуточная перепалка. А разговор-то был драматический, очень русский: всех постреляли, и ваших, и наших...

Драчун

Стыдно признаться: мой папа, тончайший иллюстратор Тургенева, муж дамы, условно, изысканной, известной в свое время ленинградской красавицы, любил драться. Видимо, сказалося его детство в подмосковной Лосинке. Место было криминальное. Почему-то было много евреев, вполне ассимилированных. Настолько, что по субботам (или какие там были выходные при «непрерывке») в поселке дрались, причем не по национальному признаку, а по улицам. Там были два мощных бойца, мясника, так улица скидывалась, чтобы заманить их на свою сторону. Я даже запомнил их имена, настолько любил папины брутальные рассказы: Ава и Раф. Его отец, мой дед Борис Маркович был слесарем высокой квалификации. Мать умерла очень рано, папу воспитывала мачеха, простая деревенская женщина. И улица. Гайдоровская пионерия, видимо, туда не добиралась. Дед, как рассказывал папа, вставал в пять часов, завтракал и ехал на электричке на завод. Возвращался в шесть, обедал с чекушкой водки и засыпал. В выходной пили уже серьезно. Друг отца, живописец дядя Юра Подляский рассказывал:

– Когда мы бывали в Москве на съездах союза художников, Дима иногда приглашал батю в гостиницу, в «Метрополь». Тот спокойно выпивал с нами. Что-то рассказывал. Не пьянел. Никакого удивления перед ресторанной роскошью не выказывал. Когда расходились – мы его провожали – как-то выкинул на ковровую дорожку окуроч.

– Папа, ты чего хулиганишь?

– Ничего, вон у вас сколько бездельников, – он кивнул на официантов. – Подберут.

Как я понимаю, в нем просыпалась какая-то пролетарская наивная гордыня. Я видел его раза два. Маму не особенно радовали наши контакты, она имела о пролетарских нравах самое предвзятое мнение. Как-то отец все-таки повез меня в гости. Дед сидел в пустой, кроме шкафа и стола, комнате с чисто вымытыми деревянными полами. Квартира, похоже, была коммунальной, но дружной: то и дело в двери заглядывали и здоровались. Дед был в свежестырированной рубашке навывпуск, вообще он был весь чистенький. Я был в матроске.

– Ох, вчера дали.

Дед, как будто они вчера расстались, стал рассказывать про каких-то своих друзей, как они куролесили. Папа кашлянул, напоминая – ребенок. Дед мельком глянул на меня. Похоже, я ему не приглянулся, наверное, из-за этой матроски.

– Да, Додик, – я впервые услышал, как папу так называют, сокращенно от Давид, – порода не наша.

– Да ладно тебе, папа.

Впрочем, скоро дед сменил гнев на милость, несколько раз потрепав меня по макушке. Как-то приехал на дачу под Москвой, где мы проводили лето, и мы с ним ходили в тир, где он дал мне раз десять выстрелить из духового ружья. Этого нельзя было не запомнить. Отец успел его навестить перед смертью. Дед лежал в большой палате, в местной больнице. Был уже плох.

– Принес?

– Папа, тебе же нельзя.

– Глоток можно, уже все равно. Ты ребятам купи.

Отец сбегал, купил сетку маленьких, раздал ребятам. Дал глоток старику, допил сам. Так вот прощались рабочие люди в Лосинке.

Так или иначе, отец был драчун. Конечно, в той ленинградской среде, где он жил, это воспринималось иначе. Помню, как несколько раз он возвращался в разодранном костюме, очень возбужденный и веселый.

– Дима, ты опять дрался с простыми людьми! – Негодовала мама.

– Ты представляешь, иду я домой, а тут напали антисемиты!

Надо было поискать таких антисемитов – отец был высок ростом и очень крепок. И уж на тихого интеллигентного еврея, жертву уличных негодяев, он никак не походил. Так что потом он для убедительности подключал к делу имена знакомых маме людей именно такого тишайшего вида, а он выступал в роли защитника.

– Ну, ты Витьку Гусакова знаешь? И Арончика? Так вот, сидят они за столиком, никого не обижают, а сзади подходит один молодой гад и раз по голове! И кричит, ах вы... ну ты знаешь. Пришлось...

Так более или менее прокатывало. Вообще слово «антисемит» маму смущало. Удивительно, отец сохранил бойцовские качества и в старости. У него не было паузы между импульсом и действием. То есть о последствиях он просто не успевал задумываться. Видимо, детство в Лосинке дало полное отсутствие робости перед уличными ситуациями. Однажды приятели в университете попросили меня найти художника, который срочно сделал бы пейзаж: университетское здание с окном, за которым сидел в молодые годы один очень большой начальник. Такое подношение на память. Гонорар был солидный. Я рекомендовал папу, он взял в помощь графика Толю Данилова, и они мгновенно выполнили заказ. Естественно, обмыли. Им было в одну сторону, они поехали вместе на метро. (Я просил папу в таких случаях брать такси, готов был высылать ему машину, но он упорно возвращался именно на метро. При этом смолоду ходил в лучшие рестораны, всегда брал такси. Какой-то у него на старости лет возник настырный демократизм, он хотел быть, «как все», может, ему не доставало общения.) Выпив, он никогда не выглядел пьяным, такая уж у него была счастливая конституция. Вагон был полупустой. На одной из станций вошел человек и сразу набросился на них: – Я евреев убивал и буду убивать.

Причем, по рассказу Данилова, набросился он именно на него. Данилов, крестьянский парень, почему-то зарос с возрастом рыжими волосами. Мужик, видимо, принял его за матерого еврея.

– Я старался заговорить мужика, он был, видимо, сумасшедшим, очень агрессивным. Хотел увести его от Давида.

– Вот, Толик, теперь и ты почувствовал, каково быть жертвой антисемитов, – не выдержав, засмеялся я.

– А мне было не до шуток, мужик такой упертый попался, неадекватный. А Давид молчит, я решил, напугали старика. И тут – «Двери открываются!». Только открылись, Давид одним ударом вынес мужика из вагона. Тот и пикнуть не успел. Пришлось пойти продолжить, выпить пару рюмочек.

Я провел с отцом беседу. Он долго делал вид, что не понимает, о чем речь.

– Папа, ну нельзя тебе связываться со всякой шпаной, тебе за семьдесят! А ты сразу бьешь человека в лоб! Пусть уж молодые как-то...

– От вас дожدهшься! Ты представляешь, ни один в вагоне за старика не заступился! – Он возмущался совершенно искренне.

– Что ж заступаться, когда ты просто ожидал, когда дверь откроют, чтобы ему вмазать!

– Но они-то этого не знали!

Арбузы от Тубли

Арбузы в начале 1980-х продавались строго по сезону и в строго определенных местах. На каких-то перекрестках, видимо, помеченных в Смольном специальными крестиками, утром с фур вываливались груды арбузов. Никаких огороженных сеткой пространств, как сейчас. Бери – не хочу. Нет, обычные груды, которые быстро испарялись – очереди были чудовищные. Советское значит отличное. Значит дефицитное. Даже если само растет. Пытаться поперек очереди переплатить продавцам было не принято. Может, кто-то это и делал, но нервы надо было иметь железные.

Однажды мы проезжаем с отцом и мамой по Суворовскому. На углу 7-й Советской типичная арбузная торговля: груда арбузов и немереная очередь.

– Хорошо бы купить арбузов, – говорит мама. – Но очередь...

В очередях мама никогда не стояла. И от нас требовала того же. Запрещено было общение с нужными людьми: кого-кого, а блатных за нашим столом никогда не сидело. Это было твердо. Лучше переплатим, зато домой принесут. А эти – пусть подавятся. (За это несомненное барство папа расплачивался литографированием портретов членов Политбюро. Что странным образом не считалось уступкой «этим». Которые – пусть подавятся. Видимо, в глазах мамы выгоды общения с деловыми, нужными людьми были неприемлемы. А выгоды госзаказа принимались: он был обезличен, общаться ни с портретируемыми (все делалось по фотографии), ни с заказчиками, слава Богу, не приходилось.) Папа готовился проехать мимо. Но тут я попросил притормозить. И через пару минут возвратился с двумя арбузами подмышками.

Этому предшествовала следующая история. Прямо над арбузным местом, в доме на углу Суворовского и 7-й Советской, находилась мастерская нашего друга Миши Тубли. Точка, ленинградской богеме известная. Чего только не повидала эта скромная мансарда! Мишуля принимал всех, как принимает Англия диссидентов и банкиров со всех стран. Банкиров у Тубли я не видал, но наш брат, искусствовед и художник, пользовался там правом неприкосновенности: от дел, жен, службы. Так вот, как-то подходя к дому, мы с Мишей набрали на эту самую очередь. Арбузов хотелось смертельно. Продавщицами были, кажется, две девушки в платках, ватниках и бесформенных брюках, руки в митенках, словом, непритязательные на вид. Они отчаянно ругались с активистами из очереди, видно, граждане покупатели осточертели им до смерти. Мишка сделал стойку. Попробуем. Мы молча остановились чуть в стороне от очереди. Через десять минут девчухи обратили на нас внимание.

– Чего стоите? – Начали они довольно нелюбезно. Мы только вздыхали. Продавщицы, похоже, немного даже растерялись. – У нас все в порядке. Вот накладные...

– Какие накладные, – начали мы импровизировать. – Сердце щемит, глядя, как эксплуатируют таких барышень. Народ-то совсем озверелый. Представляю, чего вы тут за день наслушаетесь... – Мы перекидывались фразами, нагнетая градус сочувствия. Девчухи оттаяли и даже стали прихорашиваться. Наконец, Мишка выстрелил коронное: – Не знаю уж, Саша, как ты можешь заниматься творчеством, когда кругом такая несправедливость...

– Не могу, не могу, – с готовностью подхватил я. – Рука не поднимается за кисть взяться...

– Так вы художники? Интересно-то как.

– Интересно, – построжали мы, – так поднимитесь наверх, вот наша мансарда. А нам творить пора... Заговорились тут с вами...

В мастерской уже были люди. Начались привычные разговоры под Фетяску и Гымзу в больших плетеных бутылках. Часа через два, расторговавшись, постучали девушки. С четырьмя арбузами. Где-то они успели умыться. И выглядели уже не чумазыми, а хорошенькими. Студентки холодильного на заработках. Все были рады – им и арбузам. Девушки рас-

смаatrивали картины и прислушивались к нашим разговорам с интересом – незнакомая среда, новые люди. Некоторые гости, не знакомые с сутью дела, пытались к ним подкатиться и даже заманивали в темную комнатку, служившую Мише для отдыха. Девушки дали справедливый отпор – мы не для этого пришли. Но особенно возмутились мы с Мишей. Видимо, находились под впечатлением собственной легенды о золушках, несправедливо обреченных торговать. Расстались по-дружески, без обид.

Хорошо, что я углядел их снова на углу Суворовского и 5-й Советской. Узнали. Принесли без всякой очереди два арбуза. Приветливо. Деньги – строго, как положено. Ни копейки сверх. Вот она, сила искусства.

Мама, конечно, всего этого не знала. Она безмерно удивилась проявленным мной качествам добытчика. Чтобы я что-то раньше да мог достать... Похоже, даже немного расстроилась – сын-то оказался каким-то приземленным, чуть ли не деловым. Но и слегка успокоилась относительно моего будущего: не пропадет.

Яички в 1960-м году

Во дворе у меня был приятель, сверстник, Мишка Капкин. Мы играли вместе, вместе пошли и в первый класс в ближнюю школу. Как-то заигрались во дворе. В «секретку»: что-то зарывали в снег по очереди, и каждый отгадывал и откапывал чужое сокровище. И незаметно мы разругались: одна секретка потерялась, чья – уже не разберешь. Но Капкин утверждал, что его. Более того, объявил, что секретка представляла собой ценную домашнюю вещь, и я ее, выходит, украл. И Мишка, и я прекрасно представляли, что секреткой служила какая-то ненужность – отгрызок карандаша или вообще ледышка. Через минуту мы бы помирились и забыли об этом противостоянии. Но слово «украл» было произнесено. Для меня это было нестерпимым оскорблением. Началась потасовка. Побить друг друга по-настоящему мы не могли: оба были в тяжелых ватных пальто, ушанках, варежках. Так, повозились немного. Но Капкин упал и дико заревел.

– Избили, – кричал он, размазывая слезы.

Был он тот еще хитрован и наверняка нагнетал обстановку, чтобы запросить с меня лишнюю, несправедливую секретку. Так бы и случилось: я характером не вышел, слез не выносил и наверняка пошел бы на попятную. Но на беду случилась соседка. Пожилая женщина. Назвать ее дамой язык не поворачивается – она была какой-то угловатой, хоть и не в форме – военизированной, вопиюще неженственной, – полная противоположность моей маме и бабушке. Она была именно что партийкой, как я сейчас понимаю. Действительно, старым членом партии, уже в ленинские времена засланной в Америку помогать тамошнему рабочему классу. (Ее внук, наш с Мишкой приятель, рассказывал, что она хранит письма Крупской и кое-кого еще, тут он хитро улыбался, и что вообще она в полковничьем чине, только скрытом, тайном. Вполне могло быть – агент на покое, почему бы и нет. В таком-то доме.) Это сегодня ее история побудила бы меня на расспросы и исследования. Тогда же я ее побаивался по бытовой причине: она имела обыкновение резать правду-матку родителям по поводу нашего возмутительного поведения. Она это не скрывала, более того, громогласно заявляла, что, может, она и перебарщивает с обвинениями, но делает это специально: потом хуже будет. Для нас, провинившихся негодяев, у которых благодаря ее вмешательству еще есть шанс вырасти порядочными, нужными для страны людьми. Так что стукачкой ее не назовешь. Партийка. Такие вот страсти кипели в нашем доме. Партийка громогласно отчитала нас с Капкиным, но больше всего досталось мне: она расслышала слова «избил» и спешила восстановить справедливость. При чем она судила меня не только за драку. Как сейчас помню ее филиппику: ты ударил его ногой по яичкам, и у него, возможно, детей теперь не будет, будущих солдат. У него и у Родины. Слово «яички» я ранее не слышал и потому совсем расстроился. Капкин же из-за такой живо описанной перспективы орал уже всерьез. Дело переходило в нешуточную плоскость. Хотелось к родителям под крыло, к бабушке, никогда бы не позволившей обвинять родного внука в таком антигосударственном поведении, к отцу, который, я был уверен, нашел бы правильные слова, чтобы отшить агентурную старуху. Но родителей рядом не оказалось. И соседка не поленилась – убежать от нее не было никакой возможности, так уж мы были воспитаны, – отвести нас в школу (благо, та была недалеко). И сдала нас добрейшей учительнице, классному руководителю. Причем с такой формулировкой, что спустить дело на тормозах было нельзя. Она требовала разбирательства в присутствии директора школы. И, чтобы совсем уж быть уверенной в том, что не зря тратила свое время, велела написать записки нашим родителям с требованием прийти в школу. Кажется, к пяти. Мы были убиты наповал. Занывать записки было невозможно. Старуха бы наверняка проверила. Какое-то время у нас заняло выяснение отношений: кто виноват? Вялая перебранка длилась недолго: каждый понимал, что победителя в таком деле нет. Решили рассказать дома все как есть, снизив накал, друг друга не заклады-

вать – подумаешь, повозились в снегу, никто и не виноват. А с соседки что взять – принципиальная, вот и пристала, как банный лист. Родителей дома не было, только дед с бабушкой. Я протянул записку. Бабушка ждала подробностей. Мне пришлось рассказать все без утайки (к чести своей, на хитрованистость Капкина я не напирал). Бабушка была возмущена. Особенно яичками. Но не только.

– Втягивать детей в какое-то чуть ли не дело, судилище устраивать! Прокурорша!

Дед был за час заведен, как пружина. Он как был в штатском, накинуд шинель и папаху и бросился вон из дому. Я болтался за ним по снегу, так как он тянул меня за руку, не замечая, что мне неудобно и больно. В классе уже ожидали такой же распаленный отец Капкина и сам Мишка, с совершенно убитым видом. Мы с ним прижались друг к другу, инстинктивно пытаюсь забиться куда-нибудь в уголок... Растерявшиеся классная и директриса не знали, с чего начать. Тут надо описать некоторые обстоятельства. Дед мой был уже в отставке и потому мы пришли пешком. Капкины приехали на казенной машине. (Видимо, мишкиного отца сорвали прямо со службы.) Это было их преимуществом. Но за дедом стояло другое (естественно, все это я понял много позже). Дед был летчик, а Капкин-старший, хоть и генерал, но инженерный, связанный с производством танков. То есть на каких-то тогдашних весах весящий несравнимо меньше деда (притом дед был маленьким и сухоньким, хоть и выносливым, а Капкин осанистым и тяжеловатым, хоть и моложе). Это – сопутствующие, но не решающие обстоятельства. Дед бойцовым петухом насканивал на Капкина, тот нависал грузной шинельной грудью. Видимо, кто-то донес ему слово «избил», и он употреблял его с каким-то даже удовольствием:

– Ребенок был избит, без всякой причины, это не пройдет безнаказанным.

Дед отвечал короткими очередями:

– Стыдно, товарищ генерал, из-за детской шалости судилища устраивать! Где избитый, я вас спрашиваю? – Мы с Мишкой съежились. – Вы, видно, избитых не видали.

Правду сказать, Капкин старший никакого судилища не устраивал, это все старуха-партийка затеяла.

– Яички! – выкрикивал Капкин (а вот это наверняка со слов старухи, успела до их квартиры дойти. К нам бы она не зашла ни при каких обстоятельствах, смекнул я). – Ногой по яичкам ваш хулиган бил моего сына! Стыдитесь!

– Подумаешь, мальчишеская драка, нормальное дело! И мы в детстве дрались!

– Ненормальное! Нормальные дети так себя не ведут, как ваш внук! Кем он растет, я вас спрашиваю?

– Не вам указывать, как растет мой внук. Как-нибудь сами справимся.

– А я вам скажу! Богемой будет!

В устах генерала это слово звучало как пощечина. Дед прекрасно понимал, куда гнул Капкин: зять-художник, бельмо на глазу в военном доме. Это был удар ниже пояса. Дед расвирипел:

– Следите за выражениями! Я вам русским языком говорю: судилища не позволю! Русские мальчишки валтузят друг друга! Это в порядке вещей! Крепче становятся! Не нравится – запирийте своего сына дома!

Последнее довело почему-то Капкина до белого каления.

– А я не позволю антисемитизма над своим ребенком!

Возникла пауза. Спорщики примолкли. Мы давно уже не подавали признаков жизни. Потрясенные, классная и директриса вообще не произнесли ни слова. Тут командиры сухо поклонились друг другу, разобрали детей, то есть нас, и разошлись. Дед докладывал бабушке при закрытых дверях. Меня не ругали. Просто велено было вообще не подходить к Капкину. Раз он дружить не умеет. Капкину, как оказалось, приказали то же самое. На другой день мы уже играли во дворе как ни в чем не бывало. Постепенно и старики как-то успокоились. В близкие знакомые не напрашивались, но козыряли друг другу исправно, честь, значит, отда-

вали. Через много лет я, кажется, понял смысл этой истории. Очень даже характеризующий время. Безжалостно. Дело в том, что Капкин-старший был не только инженерный генерал. Он был генерал-еврей. Отсюда и накал финала, и мирное завершение конфликта. Дед, ослепленный обидой за внука, осознававший, что есть доля правды в этой оскорбительно брошенной «богеме», два раза повторил слово «русский» в одной фразе! Дед антисемитом не был никак, он был воспитан по ранне-советски, но ведь сказанул же! Что-то такое стукнуло ему в голову! К тому же в пылу ссоры забыл, что и зять его еврей, так что и я, мягко говоря, не вполне русский мальчик, якобы природно расположенный к дворовым дракам. Ляпнул и остановился: гнев гневом, но не то что оскорбить (в его понимании) подобным низким образом соседа и как-никак коллегу, вообще перевести разговор в эту скользкую плоскость он никак не собирался. Капкин же – я представляю, сколько унижений и обид он претерпел в период «борьбы с космополитизмом», – инстинктивно защитил своего мальчика, употребив тяжелую артиллерию, – склизкое, вопиюще не к месту сказанное слово «антисемитизм». Оба, к их чести, опомнились. И уберегли нас от разъяснений, так как мы уши уже наостригли на незнакомое слово. Такая вот картинка из 1960-го года. Я запомнил эту историю на всю жизнь. Наверное, из-за того, что впервые услышал слово «яички». Помнит ли ее Мишка Капкин в своей Америке?

Сильный старик

На первом курсе у нас преподавал рисунок профессор Керзин. Очень пожилой, почти слепой. Но боевитый. Помню, студент Гиви как-то возмутился:

– Михаил Аркадьевич, что же вы нам стариков да стариков ставите! Вы, наверное, уж и позабыли, как обнаженная женщина (он сказал на студенческом жаргоне – обнаженка) выглядит?

Керзин пожевал губами и совершенно спокойно ответил на это, правду говоря, наглое заявление:

– Молодой человек, посмотрите в окно. Дерево видите?

– Вижу.

– А воробьев?

– Конечно.

– Так вот, вы в жизни столько воробьев не видели, скольких я знавал женщин...

Гиви затих года на три... Боевитым Керзин был и на войне: оставался в оккупированном немцами Минске связным, что-то такое было связано с ним героическое. Но главным образом бойцовский темперамент профессора проявлялся по отношению к искусству. Он был, как бы это сказать, последним бойскаутом скульптурного академизма. Крепкий орешек. Истинное художество для него заканчивалось где-то перед «Миром искусства», дальше шли гниль и шатание. Себя он называл последним передвижником. В тогдашней Академии было много правых, консерваторов по необходимости и служебному соответствию, но он был реакционером убежденным, искренним и потому более симпатичным. И он не был каким-то там пролетарским выдвиженцем: выходец из интеллигентной богатой адвокатской семьи с почти профессиональными музыкальными интересами (в истории музыки даже зафиксировано понятие «керзинский кружок»). Учился с Коненковым. Вообще жизнь его сводила с замечательными людьми. Но он сам выбирал себе попутчиков. В 1923 году в Витебске он занял пост директора Витебского художественного техникума, затем выдавил учеников Шагала и Малевича и вообще вытравил левый дух в городе, где еще недавно верховодил супрематизм. Потом это стали называть идейным и организационным разгромом формалистов. Керзин всю жизнь гордился этой своей победой. Я, начинающий искусствовед, наивно замыслил почерпнуть что-либо у старика касательно Малевича и Шагала. Чем черт не шутит, вдруг наберу нового материала на статью, может, старик уже по-другому смотрит на эти вещи. Керзин был непреклонен:

– Все, что я могу сказать по этому поводу, молодой человек, изложено мною в статье за такое-то число 1937 года в газете «Известия». Добавить нечего.

Помню, страшно рассердился на мастодонта. «Известия», как же. Премного благодарен. Ладно, посмотрим, какой ты там передвижник. Пошел наверх, в нашу чудную академическую библиотеку, не поленился. И удалось мне найти, кажется, в «Ниве», репродукцию дипломной работы Керзина. Со своим передвижничеством старик явно преувеличил. Скульптурная группа представляла, скорее, жанр вакханалии. Сатир, преследующий козу. Сильный был старик, не отнять.

====

Середина 1970-х. Защита диссертации на невыразимо радикальную по тем временам тему – что-то про мексиканских муралистов. Зал набит студентами. Ареопаг – ученый совет – держится настороженно, ждет подвоха. Но диссертант ведет дело вполне лояльно – никакого возможного провокационного противопоставления «Революционного монументального искусства Мексики» родным осинам. К концу доклада все уже кивают благосклонно. И тут просыпается старец Керзин. Проснувшись, внимательно всматривается в представленные репродукции и вопрошает:

– Молодой человек, чем вы можете объяснить, что этот ваш Ороско, – (или Сикейрос, или кто другой, не упомяну), – намеренно искажает действительность?

Тишина в зале. Даже академики как-то стали переглядываться: загнул старик. Все же не старые времена. Не стоило бы перегибать палку. К тому же черт знает этих мексиканцев: вдруг этот, как его, Ороско – коммунист или даже член их ЦК... И тут диссертант, ошеломленный неожиданным ударом, находит в себе силы сопротивляться. Он, зажмурившись, брякает:

– Но ведь товарищ Сикейрос (или Ороско) искажает не нашу советскую действительность. А сугубо капиталистическую.

Сильный ход. Удовлетворенный Керзин снова задремывает. Стоит ли говорить, что защита была успешной.

Цанка

Дом, в котором я вырос, в окрестном народе назывался генеральским. Там, действительно, обитали генералы среднего звена, в основном отставные, и их чада и домочадцы. Фасадом дом – типичный довоенный сталинский неоклассицизм нелепо монументального (беренсианского или скорее бурышкинского) ордера выходил на Измайловский проспект. Дом был выстроен буквой П, как в пушкинские времена говорили, покоем, противоположный фасаду просвет был закрыт решеткой. Первые годы своей жизни я помню солдат-постовых, потом пост сняли. Мы, детвора, возились на детской площадке внутри «покоя». Измайловский проспект и роты (поперечные ему Красноармейские улицы) были местом безопаснейшим: кругом казармы, по утрам даже слышался горн – побудка. Тем не менее, насельники дома, видимо, с военных времен одержимые идеей безопасности, озаботились присмотром за детской площадкой. Эту функцию возложили на одного, как шутили во дворе, ветеринарного генерала. Старик был уникальным специалистом по дрессировке собак. Еще бы, он служил начальником ветеринарной службы армии, как-то так звучала его воинская должность. Он выдрессировал замечательную собаку – немецкую овчарку Цанку. Она и была мобилизована на охрану нашего счастливого детства. Цанка была приучена допускать к детям только тех, кто был ей специально – так сказать, лицом, – показан хозяином. Он что-то шептал ей в большое стоящее столбиком ухо, и собака проявляла к этому избранному полное дружелюбие, позволяя заходить на детскую площадку в любое время. Мой папа, например, не был ей представлен, и когда иной раз, к вечеру, возвращаясь из ресторана слегка навеселе, хотел забрать меня домой, Цанка шерилась и не пускала его даже приблизиться к площадке. Папа мгновенно переходил от добродушной оживленности к ярости и клятвенно обещал пристрелить собаку. Но даже я уже понимал, что, по доброте душевной, он этого не сделает. К тому же у него не было револьвера. Мы, дети, знали, у кого в доме по службе был револьвер, а у кого нет. Вообще-то Цанка была собакой удивительного ума. Ровно в час дня она, безжалостно прерывая дворовые игры, разводила по квартирам брыкающихся негодующих детей. Раскрывая огромную пасть, захватывала (крепко, но абсолютно нежно, и без намека на прикус) каждого за руку и волокла к дверям квартиры, сдавая с лап на руки бабушкам и нянькам. При этом она не обращала внимания на вопли, щипки и даже пинки своих подопечных. Она никогда не ошибалась квартирами. Так бы все и продолжалось, если бы не один случай. Непонятно как появившийся во дворе солдатик (наверное, посыльный или просто ухажер чьей-то няни) решил себе на горе сократить дорогу и пробежать через детскую площадку. Цанка, подняв ухо, как бы предвидя его намерения, замерла. И когда бедолага рванул через огороженную низким штакетником площадку, она в немыслимо элегантном прыжке сбила его грудью. И зажала его горло своими огромными челюстями. Она вся дрожала от возбуждения, на гимнастерку несчастного стекала слюна. Все существо Цанки ожидало приказа рвать. Но приказа не было, а без него она не вправе была сомкнуть челюсти. Солдатик от ужаса не мог даже кричать. Мы бестолково старались его высвободить, присутствующие во дворе взрослые опасливо пытались отогнать собаку. Та не обращала ни на кого внимания. Наконец кто-то догадался позвать ветеринарного генерала. На счастье, старик был дома. Он спустился и, не торопясь, засеменил к Цанке. Что-то ласково прошептал ей в ухо, и она с огромным сожалением, но немедленно разжала челюсти. Солдатик, даже не оцарапанный, тем не менее, не смог самостоятельно подняться. Его отхаживали сердобольные женщины нашего двора. Вечером родители собрались на разговор. Невеселый. Дед пытался разрядить обстановку – что вы хотите от собаки, она так дрессирована. Приказ у нее. Бабушка сказала что-то мне непонятное про приказ и про власть: дескать, дрессировать-то вы умеете. Я не понимал – уж к деду это «вы» никак не относилось, собак, к моему детскому разочарованию, у нас отродясь не держали. Но бабушка имела в виду что-то другое, еще, слава Богу, недоступ-

ное моему уму. Отец что-то добавил про лагерь. Мама – про детскую психику. Меня отправили спать. Похоже, во многих квартирах велись какие-то важные разговоры. На другой день взрослые, видимо, переговорили с ветеринарным генералом. Во всяком случае Цанка больше не появлялась. Как сказали во дворе, была отправлена на дачу. На привязь, в будку.

Сегодня-то я понимаю: жители генеральского дома, люди абсолютно разные, в одном, безусловно, сходились. Знали, что такое лагерная овчарка. Кое-кто и не понаслышке.

Бабушка

Кто-то из родственников – дядя? – уже не помню – моего одноклассника работал гардеробщиком в ресторане. Видимо, из отставников в небольших чинах. Швейцары были чином повыше. Так вот, этот мальчик удивлял нас (а мы были второклассниками, с соответствующим жизненным опытом) рассказами об этой профессии – столько интересных людей! Какие шубы! А какая власть: хочет, сразу обслужит, а не захочет – пусть себе ждут! А денег сколько гребет (слова «чаевые» мы еще не знали, у меня и создался образ человека с лопатой, загребющего деньги). Я не мог не поделиться с бабушкой. Она старалась привить мне демократическую мысль, что всякие профессии равны и нужны. «Мамы всякие важны». И она благосклонно выслушала начало моего рассказа: гардеробщик так гардеробщик, похвально, что ребенок интересуется реальной жизнью. Но постепенно мрачнела – особенно, когда речь зашла о власти пускать и не пускать. А уж когда я начал про деньги лопатой, не выдержала. Сделала вид, что удивилась.

– Надо же, какая интересная профессия – гардеробщик! Я и не предполагала. Но запомни, Саша: все-таки они нам подают пальто, а не мы им.

Дамба

В начале 1990-х Толя Белкин затеял передачу «Крыша поехала», про современное искусство. Позвал меня. Передача была задумана как просветительская. Никаких шуточек! Никаких манипуляций сознанием зрителей. Толе ничего подобного и не хотелось. У него уже был опыт. Он был одним из создателей знаменитой, вспыхнувшей и быстро загашенной ленинградской культуры медийного стеба. Помните Курехина с его открытием – Ленин-гриб? То-то. Как только масс-медиа приоткрылись самую малость, Белкин ворвался в них со своей темой. Он специализировался на упырях, кровососущих инсектах и прочей нечисти, которую только могло поставлять его воображение большого художника... То, что в обычном застолье воспринималось бы ровно, как художественное допущение, из ящика звучало пугающе. Это теперь можно услышать все что угодно, тогда аудитория еще не была избалована. Ящику привыкли верить или не верить, но стеба, неотредактированного и безответственного, от ящика не ожидали. Белкин в полной мере воспользовался моментом. Как-то он выступил с передачей о различии между упырями и вурдалаками. Единственный способ избавиться от последних (от первых защиты не было), по Белкину, заключался в следующем. Нужно было согнуть большой хозяйственный гвоздь и носить его за ухом. Наутро в метро было замечено немалое число старушек с гвоздями за ушами. Белкин и сам был поражен силой телевизионного слова. Человек, как говорилось в советские времена, доброй воли, он менее всего желал бы использовать это слово хоть сколько-нибудь неосторожно. Только просветительство, ничего более. Правда, в силу врожденного темперамента, он не всегда мог вовремя остановиться. Как-то А. Макаревич пригласил его в свою передачу «СМАК». Белкин умеет готовить, но в строгих пределах. Здесь же ему захотелось блеснуть. Он решил поделиться своей версией приготовления осетрины по-монастырски. Выполнив на картоне изображение осетрины в разрезе, Белкин с указкой в руке показывал, как препарировать рыбину. Современное искусство позволяет вольности и всегда готово пожертвовать анатомией ради экспрессии. Видимо, художник, говоря, кажется, о визиге, слишком размашисто двигал указкой. Или не очень твердо помнил, откуда ее добывают. Во всяком случае, всю следующую неделю в любом ресторане к Толе подходил шеф в белом колпаке и вежливейшим образом допытывался, что Толя имел в виду. Все были уверены, что он обладает неким новым знанием, недоступным практикующим поварам. Толя нервничал. Я наотрез отказался составлять ему компанию. Какое-то время повар-художник залег на дно. Так что – просветительство в чистом виде.

Передача делалась на коленке, без особых склеек и монтажа, длинными прохождениями. Почти час (никакой рекламы) мы могли делать что хотели. За исключением этих самых манипуляций. Ну, и – не материться в кадре. А так – самовыражаемся как хотим. В процессе просветительства, конечно. Леня Бажанов даже на каком-то обсуждении прослезился: дескать, дожили наконец. В какой стране это возможно, чтобы два... балабола в течение часа творили, что хотели... В той было возможно. В этой – нет. Несли мы, конечно, что хотели, но тематически. Одна программа была, помню, посвящена провокации в искусстве. Тема всегда важная. Тогда еще не столь завязанная на политику. Не скажу, что мы предчувствовали развитие событий. Просто хотели объяснить аудитории, что провокация в современном искусстве – данность. В доступной нам легкомысленной форме. Ибо глубокомысленная нам и по сей день недоступна. Я где-то достал истертую кожаную пальто шикарного энкаведешного вида и изображал комиссара госбезопасности какого-то там ранга. Толька не смог достать вещи такой аутентичности и выглядел в своих крагах и бинокле на шее скромнее, тянул разве что на майора. В эти дни в Питере был мой давний знакомый Ричард Е. Олденбург, бывший директор MOMA, брат знаменитого поп-артиста Класа Олденбурга. Я решил использовать удобный случай. Съёмки были в ресторане Bella Leone на Владимирском, давно почившем или перели-

пованном, уж не знаю. Мы по-чекистски направили на Олденбурга лампу и долго допрашивали, как он дошел до жизни такой. То есть почему протаскивал в Союз враждебное искусство, мутил воду. Дик, помирая со смеху, во всем сознавался. Дошли и до брата. Он и его сдал. Расколовшись, назвал и других больших провокаторов XX века, от Дюшана до Бойса. Упомянул и Christo, вместе с женой Жан-Клод «упаковавшего» в материю Рейхстаг и даже кусок какого-то побережья. Это было нам на руку. О Кристо мы уже и сами думали, он был у нас, так сказать, в разработке. Дик просто, как говорили у нас на службе, дал фактуру. Отсняв материал, поехали на дамбу. Идея продолжения съемки была такая: на провокации разных Christo Советский Союз, несмотря на тяжелое экономическое положение, готовил Западу достойный ответ. В сфере современного искусства вообще и художественной провокации в частности. То есть внешне он как бы делал вид, что современное искусство ему вовсе даже не близко, но это была маскировка. Защитная упаковка, как у того же приснопамятного Кристо. (Вообще-то Кристо был беглым болгаринном, кто его знает, может быть, он был двойным агентом? Со своими упаковками значимых для Запада объектов, работал на соцлагерь? Хотя бы символически – был Рейхстаг, и нет его. Спрятан.) Так вот, Советы готовили такой масштабный ответ, что Запад мог утереться. Правда, ответ этот, вместе с БАМами и другими грандиозными стройками коммунизма, немножко подорвал экономику СССР. Да ведь идея требует жертв... Дамба и стала таким ударным художественным объектом. Выглядела она тогда ужасно: ржавчина по всей поверхности, бетонные надолбы, арматура. Но величественно (тогда злоязыким горожанам она казалась мегапамятником иллюзиям и воровству: никому и в голову не приходило, что это все достроят когда-нибудь и будут использовать). Мы, как уже говорили, в низкую политику не ввязывались. Мы напирали на величественную бессмысленность сооружения. Не для защиты от наводнений сделано, не для банальной пользы. По-вашему, не работает. А по-нашему, работает о-го-го! Работает как художественная провокация! Деньги на ветер – гениальный образ наших усилий! Это у вас на Западе все прагматично, уныло, бескрыло! А мы все бросили на художественный эффект! Вот она, победа нашенского contemporary. Так вот мы безответственно веселились. Помню, было очень холодно. Но мы завелись, размахивали руками, глядели в бинокли.

– Доведем до конца великую арт-стройку коммунизма! Вот туда еще протянем, километра на два, – я, кажется, показывал на север. – На четыре!

– Курс зюйд-вест! – Почему-то вспомнил Белкин, глядя в бинокль незнамо куда.

Режиссер и оператор покатывались со смеху: убедительно! Мы и сами понимали, что передача о художественной провокации удалась. Но не предполагали, насколько. Через несколько дней на студию пришел запрос ряда общественных экологических организаций Скандинавии. Они просили ничего не достраивать и не протягивать. Пусть уж арт-объект остается там, где стоит.

Вторая тематическая программа, которая запомнилась, была посвящена мусору в современном искусстве. Почему оно так любит garbage, шагу без него ступить не может? (Или шагнуть, не вступив в него, не может?) Хорошо бы нашего косного зрителя ввести в этот упоительный мир вторсырья и мусора как предмета contemporary. Надо сказать, мы с Толей постарались. Даже заготовка у нас была. Я должен был подойти с унитазом, найденным на помойке (found object называется – найденный объект). И сказать что-то такое: «Странное дело. Вон Дюшан таких унитазов дюжину понаделал. (Имелся в виду знаменитый объект Марселя Дюшана 1917 года «Фонтан», действительно представлявший собой писсуар. Дюшановские писсуар, велосипедное колесо и сушилка положили начало жанру реди-мейда. Подобные объекты доказывали, что дадаистский жест верификации любой предмет машинного происхождения способен сделать объектом искусства.

«Фонтан» актуален до сих пор, оставаясь полемичным введением в современное искусство. Дюшан, действительно, после войны сделал несколько повторений своих реди-мейдов,

они иногда появляются на мировых аукционах. Но это так, для сведения, извините за ликбез.) И все по миллиону музеям втюхивает. А мой унитаз ничем не хуже, а не берут. Все музеи обошел. Везде блат. Толя должен был гнуть свою линию. Его реди-мейдом был мусорный бачок. Естественно, мы должны были импровизировать. Все делалось наспех. Я чуть запоздал, добираясь из музея. У меня уже заготовлена была ржавая дворницкая тележка для уборки мусора, на ней болтался унитаз. Я быстро переоделся в какой-то ватник, а на голову натянул шлем сварщика, раздобытый помрежем. В нем было жарко, да и видно сквозь стекла круглых очков было плохо. Я еле доплелся до Белкина. Он устроился хорошо, уютно: на мусорном бачке постелил газетку, на нее выложил батон, зеленый лук, банку чего-то в томате, чекушку и два граненых стакана. Такой вот реди-мейд. Надо сказать, в тот момент гораздо более близкий к моему пониманию искусства, чем дюшановский. Может, я, не успевший со всей этой суетой позавтракать, просто проголодался. Белкин ждал, тревожно оглядываясь. Тут я дотащился до него. Камера! Я начал импровизировать что-то про Дюшана. Толька как-то недоверчиво приглядывался. Я махнул рукой – дескать, давай свою реплику. Белкин, ломая сценарий, нарушая клятву не употреблять под камеру обценной лексики, выпалил:

– Сашка... ебтать, я тебя не узнал в твоём шлеме! Думал, натуральный бомж!

Вся группа зашлась от хохота и долго не могла успокоиться. Вот она, великая сила искусства. Да не Дюшана. Искусства вхождения в образ!

Река-море

В зале взвыли. Вышла дородная, не то чтобы совсем молодая женщина восточного типа. В шальварах из гипюра, на пышных грудях – чашечки с блестками. Под грудью баядерка была подпоясана тесемкой, на которой держалась занавесочка, наподобие оконной. Ширмочка. Женщина, ритмично поводя бедрами, прошла по залу. В какой-то момент она подняла занавесочку, явив пухлый нежный живот. Нет, это не был танец живота – никаких мускульных движений она не производила. Никаких колыханий. Это не был и стриптиз в чистом виде – никакого полного обнажения (strear), никакого заигрывания (tease). Это было сильнее. Это была общесоветская мечта, воплощенная в фильме «Кавказская пленница». Собственно, она и двигалась под музыку из этого кинофильма, под знаменитый зацепинско-дербеневский хит «Если б я был султан, я б имел трех жен». В этой женщине воплотились все три. Все три были недоступны. Это был стриптиз по-советски: замешанный на недоступности. Мечта, лимитированная занавеской. Советский железный занавес проходил повсюду и бытовал в разных материалах. (Миша Рошаль в свое время буквализировал это понятие в арт-объекте – куске ржавого металла с надписью «Железный занавес»). На этот раз он представал в виде гипюровой занавесочки на животе. Занавес означал не только недоступность. Он означал и зависть. Ведь кому-то там, за занавесом/бугром, все это было доступно. Все то ласковое, зовущее, недостойное, низменное, противоречащее нашим нравственным устоям, все то счастливое, что они там называли сексом.

Каким образом оказался я в этом полуподвальном ресторане в компании морячков-речников, в зале, где гулял самый разномастный, явно разбавленный уголовным элементом, народ? Начать придется издалека, с Союза художников. С первых же дней своего существования (иначе чем бы он отличался от какого-нибудь Сецессиона или там Союза русских художников) эта сугубо советская институция посылала своих членов на стройки социализма. Вначале это было делом экспериментальным: вдруг из этого глубокого погружения в трудовую жизнь получится какое-то принципиально новое социалистическое искусство.

Какой-нибудь новый кентавр: тяжелый, надежный крестьянский зад, жилистые пролетарские руки и какой-то станковообразный литой торс. (Кстати сказать, на грубом жаргоне студентов советских художественных вузов в пору моей молодости прекрасное женское тело почему-то цинически именовалось станком. Может, этимологию следует искать в тех, раннесоветских, творческих потугах?). «Вдруг» не получилось, экспериментаторский зуд унялся, командировки стали рутинной: надо было как-то наполнять бесконечные тематические выставки. Некоторым художникам удавалось застолбить для себя какую-нибудь золотую жилу: жизнь и быт народов севера, например. Конечно, кое-кто и сачковал, брал командировочные и писал нефтяные вышки по фотографиям, находясь где-нибудь в своем родном сельце Грязнухино, где привык заниматься пейзажизмом и огородничеством. Но ведь, говорят, и Уильям Тернер, загуляв, писал обусловленные договором римские пейзажи, не выходя из любимых лондонских пабов. Так что бывает туризм банальный, экстремальный, образовательный, спортивный, был и союзхудожнический, закрепляющий трудовые связи. Постепенно руководство пришло к выводу, что и члены Союза, подпитывавшиеся живительными токами трудовых коллективов, должны предложить хоть что-то небольшое взамен. Не советскому зрителю в общем и целом, а данному питающему коллективу конкретно. Тут вспомнили об искусствоведах. Они годились хотя бы на чтение лекций. Я подвернулся под этот тренд. И не жалею.

В июне 1982 года мы с моей женой Леной, с рюкзаками и чемоданами, ждали в условленном месте, несколькими километрами выше Речного порта. Моторка подхватила нас, минут через десять мы пришвартовались к показавшемуся огромным судну, стоявшему на якоре посередине Невы. Это был, как мы потом разузнали, сухогруз типа «река-море». Он шел с гру-

зом металлолома из Финляндии в какой-то порт в Иране. Нас взяли на борт чуть ли не на двадцать дней. Конечно, об Иране не было и речи. Но и до Баку нас устраивало. И тесная каютка – тоже. Впрочем, в ту пору мы не были избалованы. Нисколько. И вот я уже представляюсь капитану, на вид – как-то несерьезно молодому парню. Как я узнал потом, кадры резко обновились akurat к нашему путешествию: произошло массированное снятие старых капитанов ввиду открывшихся финансовых нарушений, соответственно, выдвижение молодых. Наш был совсем свежий. Держался он, однако, уверенно. И сразу же меня обескуражил.

– Вы люди творческие, но у нас правила свои. Пить вы можете только со мной, то есть с капитаном.

Он показал по карте: вот здесь и здесь пить не будем. Трудный участок. Я похолодел: участок смотрелся совсем маленьким. Неужели весь остальной маршрут придется пить? Оказалось, капитан преувеличил. Откуда-то он прознал, что художники – народ пьющий, и решил не ударить в грязь лицом. Второе требование тоже было связано с предубеждениями. Капитан где-то слышал, что художники – народ богемный. Он деликатно попросил: «Ваша супруга, конечно, будет загорать на спардеке... Но когда мы будем столоваться, (не помню, щегольнул ли он термином кают-компания), вы уж попросите, чтобы она одевалась, ну как обычно, цивилизно». Не знаю, что уж рисовалось в его воображении, какая Фрина на празднике Посейдона, но и это недоразумение рассосалось. Далее все пошло как по маслу. Моряки оказались милыми людьми, капитан – вполне компанейским парнем, выпивали мы хоть и вдвоем, но умеренно. У всех, кроме нас с Леной, была своя работа, команда ожидала стоянок, чтобы оттянуться в полную силу. Жизнь на барже отличалась тем, к чему позднее призывал Александр Исаевич: самоорганизацией. Кок кормил хорошо, все (и мы, естественно, тоже) скидывались на закупку продуктов, все это командой обсуждалось сообща и загодя. Какие-то приработки (на стоянках что-то сгружали и разгружали, я деликатно отводил глаза) – тоже. Капитан сказал, что без этого самообеспечения команде не прожить. Главное, знать меру, – говорил он, намекая на судьбу предшественников, видимо, нарушивших это золотое правило. Самоорганизация касалась не только отдельного судна, но и всей жизни на реке, – подбросить, забрать, добраться. Старпом – занимавшийся в основном хозяйственной деятельностью – вообще не был виден. Он навещал семью в одном поволжском городе, в другом что-то доставал. Я понял, что понятия опоздать и остаться на берегу у речников нет: человек переходил с судно на судно аки по суку. Где быстрее, где медленнее, но результат был один: уставшего, естественно – гостеприимство! – поддавшего при переходе с плавсредства на плавсредство старпома бережно принимали на своем борту и отводили под руки в каюту. В нужное время! Про него ходила байка. На переходе из Баку в Тегеран баржи шли достаточно плотно, друг за другом. Вода на Каспии, как известно, соленая и легко держит человека. Как-то нашему капитану позвонил по связи коллега с шедшей сзади баржи.

– Петрович, старпом-то твой где?

– Да зачем он тебе? Сейчас скажу боцману посмотреть, где-нибудь здесь лежит, отдыхает.

– Да нет, у меня отдыхает. Отсыпается. Оказалось, старпом по пьянке выпал за борт, но как-то на автомате легко держался на воде, пока не подобрали. Старпом относился к подобным байкам абсолютно спокойно. Говорили, что он был автором стахановского (стакановского, добавляли рассказчики) предложения. Оно заключалось в следующем. На иранской стороне царил сухой закон. Из-за бутылок, если их обнаруживала иранская таможня, у капитанов и команды в целом возникали серьезные неприятности.

Так вот, старпом заливал спирт в плафоны, которые должны были освещать каюты (Разумеется, это относилось к наиболее доверенным членам команды, которым не могло прийти в голову зажечь свет). Залезать в плафоны у иранских таможенников не хватало воображения. На реке я узнал и экономический секрет, позволявший судить о неисчерпаемости ресурсов советской экономики. Или, наоборот, о неизбежности ее краха. Это как хотите, лично я тогда

придерживался первой версии, врать не буду. Так вот, я увидел открытую бункерную баржу с щебнем красного цвета. Баржа шла вверх по течению. Минут через двадцать точно такая же баржа, груженная терриконами явно такого же по цвету и консистенции щебня, бодро шла навстречу. Я поразился этой логистике: взад-вперед один и тот же материал, это ж надо!

– Не бойсь, Давыдыч, – по свойски объяснил мне все капитан. – Не ссы за нашу экономику. Наше, речное, дело катать взад-вперед, мы получаем за километро-часы, остальное нас не волнует. Конечно, когда-нибудь это все накроется медным тазом. Но не при нас. Не доживем. Ошибся капитан. Дожили.

Лекций я так и не прочитал. Как-то неудобно было выполнять это чисто формальное задание в неформальной обстановке. Ну, куда я со своими проектором с диапозитивами, вроде не чужой. Зато были разговоры о жизни. И о художниках пришлось поговорить, и об искусстве, видимо, все-таки смог найти какой-то затрагивающий и эту компанию поворот. Опыт-то у меня был. Не сочтите за нескромность, но вы смогли бы прочитать лекцию хоть о самых распередвижниках в шесть утра хмурой ночной смене ремонтников, настроившихся похмельиться, в автобусном гараже в Иркутске? И не только не получить по голове, но и посидеть потом с ними за столом, и самому послушать? После этого лекциями в «школе Кристи» или там в Гугенхайме смешно было бы гордиться. Искусство принадлежит народу. Это верно. Но – по разному принадлежит.

Вернусь к главному впечатлению.

Стоянку нам определили где-то в районе Ростова, у какой-то дальней, задрипанной грузовой пристани. Идти пришлось долго, по лужам и каким-то угольным россыпям. Но – дошли. Ресторан был на нынешний взгляд совершенно убогим, да и по нашим тогдашним, все-таки ленинградским, меркам, не предвещал ничего хорошего. Но что значили прежние мерки для нас, мореманов, почти что членов экипажа, дорвавшихся до берега. Морячки как-то по-особенному ухмылялись, намекая на то, что нас ожидает. Не просто выпить и пообедать в ресторане (все-таки питание, которым обеспечивал кок, надоедало). Что-то такое нас ожидало, небывалое! Наиболее рассудительные даже предлагали Лене остаться на судне: дескать, приличной женщине такой опыт ни к чему. Конечно, это только раззадоривало. Команда расселась за сдвинутыми столами. Заказывал старпом, его всюду все знали. Конечно, оливье, шницель по-министерски, судак по-польски, эта верхняя планка советского общепита; помидоры, шашлык, – дань югу. Это потирание рук, – согласно Льву Толстому, верный признак пьющих людей. Эти нарзан и ситро. Эта сервировка... Вокально-инструментальный ансамбль – он вдарил со всей силы. Песню повторялась многократно: почему-то – «Наш адрес не дом и не улица, /Наш адрес – Советский Союз»...». Оказалось, ее заказывала соседняя компания. За столом сидели настоящие, татуированные уголовники – не меняющийся типаж «Места встречи изменить нельзя». (Братки ментовских фильмов с золотыми цепями и гайками появились много позже). Консерватизм их облика, видимо, имел какие-то социально-эстетические основания, но особо приглядываться как-то не хотелось. Во всяком случае, в ресторане был явлен честный, абсолютно аутентичный мирок разномастно – кто в мятом залежалом костюме, кто в ватнике – одетых людей, объединенных радостью: один из своих откинулся с кичи. Им незачем было производить впечатление друг на друга и на окружающих тем более. Абсолютная счастливая самопогруженность. Как говорят сегодняшние социологи – сообщество своих. Самый потрепанный, с серым бескровным лицом, – герой дня, – плакал счастливыми слезами. Для него и заказывали песню... Не было ничего противоестественного в том, что они, изгои общества, разноголосно подпевали этому гимну официоза. Конечно, подпевали они чему-то другому. У них был свой адрес в этом Советском Союзе. Как-то остро почувствовалось, что и мы – и все остальные группы, партии и общности советских людей, – жили в этом Союзе по своим адресам. Но – недалеко друг от друга.

«Восточный танец», – объявил один из лабухов, – в исполнении нашей дорогой актрисы Лейлы». Кажется, так. В зале взвыли. Значит, начиналось долгожданное. Танцовщицу в общих чертах я уже описал. Шальвары, грудь в чашечках с блестками, занавесочка на животе... Это вам не Бакст, не дягилевские сезоны... Женщина, ритмично поводя бедрами, прошла по залу. Подняла занавесочку, показав большой белый – может, припудренный, живот. Гопники с мольбой тянулись к ней. Без рук, конечно. Только душой. Как и остальные посетители. Мы, всей командой, в том числе. Совершив несколько медленных поворотов, Лейла прикрыла живот. На бис она выходила раз десять.

Боже мой, невозможно представить ее (с тех пор я много где побывал) в каком-нибудь американском стрип-клубе – танцующей вокруг шеста, позволяющей клиентам засовывать себе в трусики десятки... Или в парижском пип-шоу: в боевой раскраске, стонами и позами имитирующей страсть, разыгрывающей псевдо-похоть! Нет, Лейла, с ее какой-то домашней плотскостью, самодельным одеянием, хореографией, поставленной лабухом-любовником, была другого пошиба! Она оказывала мужчине великую милость, покачивая могучими бедрами, обнажая на минуту живот! За попытку превратить это в реальность – скажем, попытаться познакомиться, обаять, не говоря уж, – купить, – здесь могли прибить. Всем залом. И поделом – нельзя отнимать у граждан недоступное! Это было твердо налажено в СССР, по всем его адресам, – поэтика недоступности.

Генерал

Как-то отец пришел домой «после союза» (то есть после обязательного выпивания в буфете Союза художников) необычайно встревоженным. Даже подавленным. На вопросительный взгляд мамы он ответил:

– Плохо дело. Генералу по морде дал.

Мама, как-никак генеральская дочка, вскипела:

– Генералу? Да как ты посмел?! – Но видя, что отец по-настоящему расстроен и испуган, чего с ним отродясь не бывало, оставила разбор полетов на потом. – Дима, что случилось?

Случилось следующее. В Союзе художников числился некий отставной генерал. Назову его Мазуров, вдруг у него остались дети, неудобно. Генерал это был политический. Служил на Дальнем Востоке и, как говорят, лично сопровождал Блюхера в Москву на расправу. Сам не пострадал, значит сдал своего шефа с потрохами, услужил. Затем был членом военных советов по политчасти, завершил карьеру жидоморством в Военно-медицинской академии, словом, все, как партия прописала. Когда задвигали в отставку, вспомнили, что генерал баловался пейзажиками. Его и определили в Союз художников. Так бывало с артистическими натурами из высшей номенклатуры – двери всех творческих союзов были для них распахнуты (наверное, с Союзом композиторов было труднее, хотя кто знает. Жданов же показывал, тренькая на рояле, великим советским композиторам, каким надлежит быть народному мелодизму). Кто бы спорил – кадр нужный для укрепления, надзирания и пр. Мазуров действительно оказался ценным кадром. Когда кто-нибудь из членов союза попадал по пьянке в вытрезвитель, семья звонила генералу. И надо сказать, он был безотказен: в любое время дня и ночи был доступен для высвобождения «своих» из милицейских оков. Представьте себе картину: генерал, еще вполне крепкий, в расцвете сил, в парадном мундире, с иконостасом орденов, появляется в вытрезвоне и требует отдать ему бедолагу-пьяницу на поруки. Естественно, менты соглашались. В этом плане даже симпатичный был старикан, если не задумываться о тех делах, которые он наворочал во время своей политотдельской карьеры. Так вот, с этим генералом отцу доводилось регулярно встречаться в союзовском буфете. В этот раз, слово за слово, дело дошло до политики. Времена были хоть и послехрущевские, но и не самые свинцовые – перевалило за половину шестидесятых. О жертвах сталинских репрессий еще вспоминали. Отец в пылу самовозгоревшегося скандала почему-то вспомнил маршала Блюхера:

– Ты Блюхера на расстрел вез!

На что генерал крикнул:

– А ты, Димка, гляжу, вообще сионист!

– Тут, – упавшим голосом проговорил протрезвевший и присмиривший отец, – как-то у меня само собой вышло: дал ему оплеуху.

Скандал, как это всегда было в союзовском буфете, быстро затушили. Но отец, по привычке рядового, не верил в благополучное завершение ссоры с генералом. Генералы (история взаимоотношений с маминым отцом, в квартире которого они жили, усугубляла положение), сионисты, о которых твердило радио, – все это не предвещало ничего хорошего. Родители еще долго шепотом обсуждали перспективы. Утром все разрешилось. Мазуров позвонил часов в семь, спозаранку. Видимо, вчерашнее мучило и его.

– Дима, вчера неудобно получилось. Конечно, ты сам виноват. В другое время ты бы у меня... – Он осекся. – А в одном и я, понимаешь, погорячился. Не имел я такого права сионистом тебя называть. Забудь.

– Да что ты, Степан Ахромеич, мало ли что по пьянке не скажешь, – с облегчением бормотал отец. – Ты меня тоже извини...

Распознались.

– Смотри-ка, – отец радостно обратился к маме, – как себя повел. Не такой уж и стукач. Что-то в нем даже человеческое. Почти что свой парень...

Мама внесла ясность:

– Он тебе не свой. Он был политработником высшего звена. Он таких, как ты, – тут мама посмотрела на меня и осеклась. – А ты что тут делаешь? Портфель собрал? Марш отсюда. – Но я расслышал дальнейшее. – Таких, как ты, тысячами... Как ты не понимаешь? Дело не в том, что ты не сионист, кому это интересно. Сионист – обвинение политическое. Старик привык приговоры выносить: троцкист, меньшевик, дезертир и пр. Но не лично от себя – от лица партии. Хотя бы тройка должна быть, чтобы осудить по правилам. А тут он сам вылез. Никто его не уполномочивал. Решения никакого не было. Лично обвинил, к тому же в бытовой ссоре. Думаю, даже стучать не будет – оплошал, себе дороже.

Вспоминаю через много лет эту историю: какие люди были! Какие нравы! По каким правилам жили! Получить по башке при всех своих регалиях – не страшно. Это в порядке вещей. Страшно обвинить не по форме. Без санкции. Проявить волюнтаризм (было такое слово в репертуаре постановлений партии и правительства). Это уже нарушение. За это могут привлечь к партийной ответственности. Могут и по башке дать.

Фантики

В детстве во дворе играли в фантики. В ножички, конечно, тоже. Но в фантиках было что-то магическое. Правил игры не помню, кажется, надо было замерять расстояние между фантиками (больше, чем от большого до безымянного), потом указательным пальцем как-то выщелкивать их таким образом, чтобы твой фантик покрывал чужой. Тогда ты был вправе забрать его как трофей. Выбор фантиков не был так уж широк. Обычные – от леденцов ценились ниже всего, они были легкими, приходилось утяжелять их, многократно смазывая слюной. Были солидные – из-под конфет типа «Мишка на Севере». Самые ценные были от прибалтийских конфет. И были еще совершенно редчайшие, абсолютно иной полиграфии – западные. Откуда? – совершенно справедливый вопрос. Подобные фантики приносили избранные. Остальным было неудобно даже спрашивать, с каких небес сваливалось такое сокровище. Теперь-то я понимаю – с африканских, кубинских и прочих. Двор, как я уже сто раз описывал, был «генеральским», и у многих стариков-отставников дети уже служили в отдаленных точках планеты. Помогали местным строить светлое будущее, по ходу дела привозя малую толику тех западных благ, коими империалисты старались заманить доверчивых местных в свое логово. Так что эта толика – мы имели представление только вот о фантиках и игрушках – была типа трофеев. Или частью премиальных, которую местные из благодарности доплачивали в качестве командировочных. Вот за такие фантики разворачивались подлинны ватерлоо. Вообще эти маленькие сигналы иной жизни, как много они значили для детского сознания! Тогда среди мелюзги (а может, и мальчишек постарше) были в ходу буклетики. Добытчивые родители, которым довелось посетить американскую выставку 1959 года в Сокольниках, привозили их с собой, и они попадали в детские руки, сразу становясь материальной ценностью, средством обмена и знаком престижа. Я никогда не тянулся к технике, я рассматривал эти лакированные картинки с длинными лимузинами как послание из другого мира. Отец тоже поехал на американскую выставку, но ничего путного не привез, какие-то альбомчики с каракулями. Он и его друзья были поражены и уязвлены абстрактным экспрессионизмом настолько, что пробиться в толпе соседнего павильона к нужному товару – этим самым лимузинным буклетикам не приходило им в голову. Единственное, что я мог – просить счастливых обладателей американского чуда дать подержать их в руках. Я был стойким октябренок, меня учили выбирать между материальной шелухой и идеей. Предложи мне кто-нибудь поменять октябрятскую звездочку на этот буклетик, я бы отказался. Мне было бы мучительно больно, я бы рыдал всю ночь. Но мне даже не предлагали ничего подобного! Вот такой я был: ни фантиков, ни буклетов! Конечно, не преминул поделиться своими горестями с мамой и бабушкой. Без классовой ненависти, скорее меланхолично сравнил нас с соседями снизу, состоятельными людьми, внук которых Мишка преуспевает, не зная откату в буклетах и фантиках. Сейчас я понимаю, насколько смешны были родителям мои представления об уровне жизни: папа в ту пору зарабатывал иллюстрациями и литографиями членов Политбюро уж никак не меньше офицеров, натаскивающих солдат освободительных войн. Мамин отец, старый вояка, даже ревновал: такие гонорары казались ему недостаточно выслуженными.

– Нет, талант, я понимаю, но сразу, без выслуги лет, такую зарплату...

Тем не менее мама поняла меня и приступила к действиям. Она нарезала стопку бумаги в размер типовой обертки и разрисовала каждый листок акварелью. Сложив каждый листок вчетверо, она насыпала мне целую грудку фантиков. Чем хуже фабричных? Не хуже, даже выразительнее и разнообразнее. Мама настаивала на эквивалентности обмена ее фантиков на другие. Я душой понимал иллюзорность ее попыток. Что-то сакральное было неотвратимо потеряно. Невозместимо потеряно. Во двор я вышел с тяжелым сердцем, ожидая насмешек. Сердце

не обмануло. Меня даже не приняли в игру. О потlach! О символический обмен! О Леви-Стросс! О волшебная арабеска, рассыпь фантиков на дворовом асфальте!

Телесные и ментальные

В Карлсруэ есть знаменитый на весь арт-мир Центр искусства и медийных технологий – ZKM. Это такие врата: прошел – меди-артист, тормознул, замешкался – звать тебя никак. Действительно, здесь все – и музей, и презентация всех техно-медиа-идей, рожденных за последние лет двадцать. Есть здесь и вечный директор – Питер Вай-бель. Замечательный бодрячок, их шестидесятник. Их – это не наш. Эти немецкие шестидесятники были акционисты, то есть работали с телом и телом. Порой очень радикально – вплоть до членовредительства. Вайбель в среде венских акционистов не был самым крайним. С акционисткой феминисткой Вали Экспорт он сделал перформанс «Досье из собачьей жизни»: ходил по Вене на поводке. Но смиренно, не бросался на зрителей, как много позже Олег Кулик. К тому же ходил не голым, вполне даже в костюме.

Вайбель увлекся техно и цифрой. Он вообще на своем веку многим увлекался: тяжелым роком, философией, кино и пр. Собственно, из тогдашнего его увлечения цифровым искусством и родился ZKM в сегодняшнем его виде. Когда стал куратором Московского биеннале-4 (2011), было ясно: не ему оказали честь, а он оказал – биеннале. ZKM снисходительно потрепало по плечу ЦУМ (там под его кураторством проходил Основной проект). Кстати, любовь Вайбеля к техно немножко подвела его в Москве: среди произведений оказалось слишком много гаджетов. Что-то было в этом колониальное: бусы, зеркальца. Но это – т-сс! – между нами. А в быту Вайбель жизнелюб. Телесное любит по-прежнему. Как немецко-австрийский шестидесятник. И вот я его подколот немного.

– Знаешь, – говорю, – какая репутация была среди русских у твоего Карлсруэ в XIX веке? Что их влекло?

– Ну, воды, рулетка.

– Само собой. Но там появились первые русские не подцензурные литографские мастерские. В России боялись, что там начнут литографировать почем зря антиправительственные прокламации – дешево и сердито. Оказалось, русские стали печатать там порнографические стихи и рассказы. Я даже вспомнил один такой стишок, вроде бы М. Лонгвинова:

Пишу стихи я не для дам,
Все больше о п... и х...
Я их в цензуру не отдам,
А напечатаю в Карлсруэ.

Вайбелю очень понравилось. Я даже испугался, что он сделает их слоганом ZKM. Потом вспомнил, что он уже давно не телесный, а медийный. Но к чему я веду? Году в 2001-м мы делали в Русском выставку замечательного художника Юргена Клауке. Концептуалист, великий трансформатор фото-медии в станковое и наоборот. Тоже коренной шестидесятник – телесник, затем, помножив телесное на лингвистическое, стал классиком минимализма и концепта. Я без иронии говорю, потому что кроме концепта там всегда присутствует совершенная визуальная реализация. Чего и другим желаю. Естественно, Клауке повязан с ZKM служебно и лично: выставляется «от» этой институции, дружит с Вайбелем. Разумеется, ZKM привлекает и главных философов времени: Жижека, Гройса, Слотердайка. Такое вот сочетание: художники ZKM работали (кто когда) телом и с телом, а философы, естественно, головой. После вернисажа разговорился я откровенно с умницей Клауке. На свободные темы. В частности, как живется критике. Я хотел рассказать, как у нас живется: плохо, методологии не отстроены, язык описания хромает. Говорю, мол, у вас такие философы в одной упряжке, с ними-то проблем нет. Но Клауке все-таки изначально телесник, нет у него святого предтерминологического

трепета (то есть трепета перед терминами, перед господствовавшим тогда квази-философическим дискурсом). Он говорит:

– Не так все просто. Заказал я как-то статью коллеге.

Кому из трех философов, не упомяну, поэтому дам обобщенный образ – Жижгрослот.

– И как?

– Да тот просто нахально скачал куски каких-то своих текстов. И один раз вставил мою фамилию – Клауке. И счет выдал.

– И ты? Скандал устроил? Отказал?

– Да нет. Попросил четыре раза проставить в текст Клауке. – И захохотал, как Вайбель над стихами про Карлсруэ. Тоже не дурак.

Где наше ни пропадало

Это не ошибка. И не филологическая каверза. Просто правда жизни. Просто напишу несколько замечочек о том, что с возу упало по моей собственной дурости.

Выставка Класа Олденбурга в Гугенхайме. Что говорить... Если меня пронимало современное искусство, то на таких выставках. А их было на моей памяти с десяток. Художник – в кресле, стар. Меня подводит к нему его брат, Ричард (Дик) Олденбург, бывший директор МОМа.

– Слышал, слышал, – вежливо говорит старик и показывает на огромный каталог. – Возьмите. – Я, как честный дурак, уставший перевозить тяжеленные каталоги, стал что-то бормотать. Типа премного благодарен, но может, музей перешлет мне, а то так не подъемно...

– Честный мальчик, – сказал Олденбург. – Люблю откровенность. Действительно, тяжелый, не для самолета. Жаль, хотел вам нарисовать что-нибудь...

Я похолодел. Но что делать. Не говорить же: дяденька, обмишурился я, нарисуйте хоть что-нибудь. Так и ушел. Откровенный! Таких откровенных поискать...

Биограф

Как-то сел у Гугенхайма в автобус, проехать по музейной миле вдоль Централ Парка. В автобусе почти пусто – день. Напротив сел цветущего вида джентльмен, к семидесяти. И вдруг, совершенно неожиданно для меня – никогда ранее в автобусах иначе как «вы выходите?» ко мне никто не обращался, этот джентльмен спрашивает: «Are you from art world?» Или еще проще: «From arts?» Что-то типа – вы из искусства? Может, пакеты мои разглядел с каталогами? Словом, идентифицировал. Польстил, короче говоря. Расположил к себе. Разговорились. Джентльмен оказался Джэкобом Баал-Тешувой. Знакомство продолжилось, и я не раз бывал в его квартирке на Манхэттене, рассматривал картины его жены Авивы и даже сделал ее выставку. Джэкоб был автором многих популярных книг по искусству и биографом М. Шагала. Молодым израильским журналистом (кажется, Израиль даже еще не был провозглашен как государство) он приехал в Париж и перезнакомился со всеми великими стариками: Шагалом, Пикассо, Леже и др. С Шагалом сдружился навсегда. Он рассказывал массу баек о Марке Захаровиче, которые не могли войти в официальную биографию. Одной поделюсь. Может, и апокриф. Итак, рассказ Баал-Тешувы.

– Марк, как вы знаете, был любезным человеком – обо всех своих знакомых отзывался восторженно, мог, причем в письменном виде, признать гения в любом, скажем, стихотворце или музыканте. Не скупился. Только о художниках отзываться не любил. Как-то мы с Авивой по его приглашению поехали к ним на ужин в Сен-Поль-де-Ванс. А днем зашли в Ницце на большую выставку Миро. И вдруг видим: по залам ходит Марк в странном виде – чуть ли не с накладным носом и в парике. Словом, маскируется. Мы поклонились, он сделал вид, что не узнал. Что делать. Причуды мастера. Вечером появляемся на вилле. Звоним в дверь. А там был у нас ритуал: «Здравствуйте, мэтр». – «Да какой я вам метр, так, миллиметр». Сходились обычно на сантиметре. За обычным разговором спрашиваю:

– Как вам Миро?

– Какой Миро? Я на выставке так и не был.

Промолчали – чудит старик... Поезд. Утром входим в квартиру. Звонок. Снимаю трубку – Марк. Давно звонит, накипело.

– Знаете, а все-таки ваш Миро – дерьмо!

Может, и апокриф.

Гольшки в Мраморном

Много лет я работаю в Мраморном дворце. Помню, как во дворе мы водрузили на постамент ленинского броневика «Мраморный Форд» немецкого акциониста Ха Шульта. Кстати сказать, теперь броневик мне жаль – это был отличный образчик техно-реди-мейда. Прямо, как Дюшан прописал для наших планов превратить Мраморный в арсенал современного искусства. В музее Ленина вообще много было авангардного. Например, в витрине – пальто вождя, простреленное Фаней Каплан и заштопанное Надеждой Константиновной. (Таких уникальных пальто во всех музеях Ленина по России было штук десять.) Но концептуальным было другое. Пальто было одного размера, на человека небольшого роста. А рядом стояли как бы ленинские болотные сапоги. Для охоты. Причем другого, огромного размера. На какого-нибудь матроса Железняка. На худой конец, Дзержинского. Я, когда музей еще существовал, успел сделать слайды. И показывал на лекциях: вот – Кабаков, инсталляция «Рука и репродукция с Рейсдаля». А это – музей Ленина. Инсталляция с пальто и сапогами. Доходило. Но история не об этом. Это отцовская история. В пятидесятые на задах Мраморного, где-то на третьем этаже несколько молодых художников, отец в их числе, сняли мастерскую. Был у них дружок, кажется, замдиректора, он им это и устроил. Сняли для халтур – панно на ленинские темы, вполне в русле музейной специфики. Дело молодое, писали заодно обнаженных натурщиц. И как-то в здании напротив, в Ленэнерго (бывшие казармы Павловского полка), точнее, в его крыле, которое выходит на Миллионную, собирался какой-то районный партийный актив. Может, не районный, а местный, электрический, не важно. И видят делегаты: аккуратно напротив их собрания, в окнах Мраморного, то бишь Музея В. И. Ленина, творится черт знает что. Провокация. Голые бабы. Звонок. Через десять минут этот самый зам, который не раз приходил в мастерскую с целью выпить (коррупция была минимальной и измерялась халявной бутылкой, правда, регулярной), чему не мешали никакие холсты с натурщицами, был уже там. Обычно ему не мешали не только холсты с натурщицами, но и сама живая натура. Теперь он пребывал в паническом настроении.

– Мужики, не губите. Прячьте гольшек, комиссия на хвосте! Вот-вот нагрянут! Боже мой, голые бабы в музее Ленина! Пропал я, пропал!

Что делать? Выносить холсты по одному – не успеют. Прятать – найдут. Решили связать подрамники и спустить обнаженку вниз. Сказано-сделано. Часть художников сбежала вниз принимать холсты. Успели даже грузовик подождать, люди были хваткие, войну прошли. Зам встречал комиссию. Партийцы тоже не лыком шиты: въедливые, поднаторевшие в разоблачениях враждебного элемента, – их за эту опытность там же на активе в комиссию и избрали, по горячим следам. Но след взять не удалось, ничего не нашли. Ложная тревога. А зам кипятился: «Как вы могли подумать, что в таком священном месте... Вот вам Ленин, вот вам Дзержинский. Обидно, товарищи». Но и электрические коммунисты, оставшиеся в зале заседаний, тоже не дураки. Они углядели, что обнаженку вниз спускают. И тут же оперативно настучали. Это был уже второй сорт разоблачителей. Подслеповатый. Говорят, голых баб на веревках эвакуируют. Это уж как-то совсем вызывающе. Не реалистично. Их подвела, конечно, не только слабость зрения, но и общая расстановка сил. Самые заядлые активисты как раз проверяли в этот текущий момент мастерские. Самые внушающие доверие. А эти, подслеповатые, были так себе, шелупонь рядовая. Доверенные даже возмутились: если уж мы ничего не накопили, то не вам встречать. Выдавать желаемое за действительное. Гольшки им всюду мерещатся. Товарищи-художники работают над ленинской темой. Вызов, стало быть, ложный. И точка. Такой вот рассказ. Вполне contemporary. Про акционистскую артикуляцию телесного во враждебном социуме. Правильная история для Мраморного дворца.

Профессор Каганович

Профессор Каганович был обаятельнейшим человеком – шармер, душа любой компании. Мои родители смолоду приятельствовали с ним, в семейном обиходе он был Абрамом, без отчества. С ним связывались истории и анекдоты житейского плана, которые, пока я был маленьким, рассказывались приглушенным голосом. Для студенток нескольких поколений он был живой и желанной легендой. Недавно я перечитал его работы – конечно, как искусствоведа, по отпущенным ему возможностям, он мог сделать гораздо больше. Видимо, он с молодости, пришедшейся на «борьбу с космополитизмом», вынужден был постоянно доказывать свою лояльность. Академическая жизнь, в конце 1940-х идеологизированная донельзя, и впоследствии держала его мертвой хваткой. Карьера подразумевала большие обременения. Думаю, его личностная яркость была своего рода компенсацией профессиональных ограничений, которые он прекрасно осознавал. Коль скоро приходилось отмалчиваться или произносить ритуальные речи в публичной жизни, в частной Абрам Львович давал себе волю. Его бонмо расходились от преподавательских застолий до студенческих. Впрочем, в последние годы (собственно, тогда я и слушал его лекции) они были окрашены грустной интонацией.

– Раньше студентки мне говорили: «Абрам Львович, возьмите меня». Теперь: «Абрам Львович, возьмите меня в аспирантуру».

Поезд

Как-то само собой оказалось: очутился на летном поле в Пулково в группе из десятка сравнительно молодых людей. Кое-кого я знал понаслышке (композитор С. Баневич и пианист П. Егоров), кто-то учился со мной в Репинском (Сергей Кирпичев и Олег Яхнин, графики, и Алик Асадулин, певец, но тоже наш, учился на архитектурном). Далее тек ручеек совсем одинаковых учениц старших классов Вагановского. И совсем отдельно шествовал с большим иностранным баулом юноша в черном с густой черной же шевелюрой.

– Держись от него подальше, – шепнул бдительный Кирпичев. – Какой-то он не наш. Действительно, вид у него был театрально-зловещий. Как мы там все оказались?

Была такая практика в позднесоветские времена: творческие союзы посылали лучших своих представителей в отдаленные трудовые коллективы. Лучших? Все понимали, что это сомнительно. Например, был случай с одним поэтом, тишайшим человеком, собирателем матерных частушек. Он после поездки, о которой пойдет речь, подарил нам всем по книжке своей лирики. Под названием «Однолюб». Когда я, вернувшись, рассказал об этом в доме поэтов Нонны Сле-паковой и Льва Мочалова, Лев Всеволодович, мой старший друг и сослуживец по Русскому музею, посмотрел на меня странно.

– Не может быть, чтобы тот самый, – он внимательно изучил обложку. – Нет, тот. Помню его дело. В Союзе писателей обсуждалось. Дело не политическое, уголовное: ничем помочь не смогли. Получил срок за изнасилование. Групповое. После всего этого он вроде как квартиры лишился, поэтому и ездит по всяким творческим командировкам. Жить-то негде. Не берусь судить, в чем там было дело. – Лев Всеволодович человек исключительной щепетильности в вопросах человеческих отношений. – Но согласитесь, странно после всей этой истории назвать книгу своих стихов «Однолюб».

Не спорю. Так что насчет лучших своих представителей перебарщивали. Вот и мы, посланцы Союза художников, ничем таким особо позитивным не отличались. Хотя, конечно, и не «однолюбы». Дома надоело, и согласились поехать на БАМ. Да. Тот самый. «Строить путь железный, а короче – БАМ». Конечно, не строить. Встречаться с тамошними работягами. Черпать у них творческие силы. И отдавать им, вестимо, наши. Летим до Иркутска. Поздний вечер. Ресторан в аэропорту закрыт.

– Ребята, – это мы к официантам, – нам бы перекусить...

– А пошли вы... Не видите – закрыто. – Зло так ответили, бескомпромиссно. Сопровождающий стал совать официантам свою красную книжечку, они совсем уж озверело послали его. Надо сказать, время – чуть перевалило за середину семидесятых – почему-то запомнилось таким, что любое начальство нижестоящие люди (если не было прямой зависимости или угрозы) ненавидели от души. А в Иркутске, как оказалось, этого даже и не скрывали. Облом. Особенно неудобно было перед балетными девушками. Зачем их повезли на БАМ – неизвестно, тем более, к нашему общему сожалению, они были под плотным надзором своих воспитателей. И в дальнейшем носу из вагона не казали. Об этом позднее. А тогда мы, в надежде совершить на глазах этих балетных чудо, совершенно бесполезно совались к отдельно стоявшим официантам с баснословными, по нашим меркам, денежными предложениями. Официанты смотрели презрительно. Нам, каким-никаким, а мастерам культуры, было обидно. Тут вперед выступил черный человек. Тот самый, которого советовал остерегаться осторожный Кирпичев. Черный человек, присмотревшись к подносу с пустыми бокалами, что-то там переставил и быстрым движением запустил бокалы высоко вверх.

«А вот теперь п-ц», синхронно подумали мы. Официанты ощерились. Но тут черный человек невыносимо элегантно движением подхватил падающие бокалы на поднос. Они встали, не дрогнув, как влитые. Смельчак учтиво представился: престижитатор, лауреат

Токийского циркового (кажется, так) фестиваля Лазарь Лаузенберг (за точность имени-фамилии не ручаюсь) ... Эффект был поразительный. Официанты стали метать на стол тарелки с закусками.

– Фокусник, говоришь, – подошел старый метр. – Я еще Вольфа Мессинга знал, выступал у нас в Иркутске. Кормил его в тогдашнем «Центральном». Тогда самый лучший был. Сейчас таких и нет. Водочки, водочки неси, – между делом наставлял он молодого официанта.

Мы поняли: с таким престиждитатором не пропадем. Лазарь показал еще несколько фокусов, менее рискованных, походя забрал у молодняка бумажники с чаевыми так, что они и не шелохнулись, отдал, снял пару-тройку наручных часов и снова отдал. Словом, ночь прошла в полном братании. Наутро вокзал. В скромном депутатском зале установочная беседа с каким-то матерым цеховским комсомольцем. Оказывается, цель нашей поездки – не только взаимоподпитка энергией с рабочим классом. Мы – работники идеологического фронта.

– Во враждебном западном мире ширится контрагитационная кампания по дискредитации нашего БАМа. И всего, что с ним связано. Вы должны ответить на это своей... – Тут он задумался... – Контр-контрагитационной работой. Попросту говоря, показать людям доброй воли реальные достижения строителей БАМа. (Это – после, дома, причем всем нашим творчеством и жизненной позицией.) Ну а пока строителям – теплоту душ советских людей, которые душой – с ними...

Складно говорил начальник. Тогда все эти речи – от речей Генерального секретаря и до пассажей лектора из захудалого райкома – воспринимались чисто ритуально. Никому бы в голову не пришло выстраивать какую-то причинно-следственную связь между озвученным и реальной жизнью. («Озвучить» – нынешнее выражение, в брежневские времена за него бы не поздоровилось: «как это озвучено – генсек, да пусть и любой секретарь захудалого райкома, по-вашему, уже и губами не шевелят? Повашему, сам – взгляд кверху – уже и говорить не может?!») Так что мы выслушали комсомольского чина с полным ритуальным спокойствием. Никаких вопросов. Он оценил нашу реакцию и в конце даже сказал что-то человеческое, сочувственное. А именно:

– Ребята, вам не сказали, но по всему БАМу – сухой закон. Я уж не знаю, как вы там. Словом, сами справляйтесь.

Расселились по купе. Мне достались Яхнин, Кирпич и Престиждитатор. Лазарь оказался очаровательным человеком с уже немалым опытом жизни. Дар у него был семейный. Он не смог его скрыть даже во время службы в армии: Лазарь научил весь взвод кидать ушанки вверх на предельную высоту и ловить их головой. Аккурат к приезду генерала. Тот после подобного приветствия решил, что допился до белой горячки, и слег. А Лазаря после отсидки на губе запустили по военно-артистической линии, в какой-то ансамбль. На гражданке отец, тоже цирковой, заставил его учиться токарному делу, чтобы самому делать себе реквизит. Он жонглировал, показывал фокусы, строил сложные инсталляции, словом, был на все руки. Много выступал, даже в Японии. В пути Лазарь постоянно тренировался. Накидывал шапку на самый отдаленный гвоздь. По утрам у всех снимал часы в условиях нашего полного контроля – снимал и все тут, разминался. Подолгу меланхолично стоял на голове. Оживлялся он только на недолгих стоянках. Нужно было доставать спиртное, несмотря на все запреты. Это делалось так (увы, наш опыт уже никому не пригодится. Хотя как знать). На каждой станции был лабаз, в нем монументальная, все повидавшая тетка с химзавивкой. Фернандо Ботеро такие и не снились. У нас все было рассчитано по Станиславскому. Первым подходил я как типичный очкастый ботаник ненавистного интеллигентского вида (я, конечно, подыгрывал, после службы в Декоративно-прикладном комбинате, которую я где-то описывал, все же накопил кое-какой опыт выживания). Дрожащим голосам невыносимо вежливыми оборотами осведомлялся, нельзя ли в обход сухого закона достать пару бутылок – у меня, дескать, день рождения. Мне презрительно – как и предполагалось – указывали на дверь.

– Ходят здесь всякие...

Я был для разогрева. Следом шел более классово внятный человек – тот самый, который «Однолюб» (подробностей его жизни мы, конечно, не знали). Он читал продавщице (имя-отчество узнавалось заранее у аборигенов) вирши, довольно шустро зарифмованные, про все ее душевно-телесные красоты. Сердце ее оттаивало, но не настолько, чтобы лезть под прилавок. Но такая мысль уже зарождалась в ее голове. Затем появлялся inferнальный Лазарь Лаузенберг. Мы – это было его заранее оговоренное требование – удалялись. Никто из нас так и не узнал, что делал Лазарь с продавщицами. Показывал фокусы, вынимал из укромных мест – ушей, например, – конфетки, просто угадывал, где спрятано спиртное, – но без пары бутылок он не возвращался. Мы любили потом из окон смотреть, как к лабазу двигались комсомольские вожаки. Они не спешили – без них поезд не отойдет. Они были уверены, что для них-то отложено. Им даже корочки свои красные не надо было предъявлять.

– Ваши уже отоварились, – злорадно сообщали вожакам продавщицы.

– Наши? – Тут до них доходило.

Назад не заберешь, но в их сердцах копилась ненависть. Она вылилась в то, как были подготовлены благодарственные отношения в наши профильные союзы. Мне и графикам написали, за подписью самого высшего комсомольского начальства, что, конечно, мы проделали огромную творческую работу, просвещали, отражали, одухотворяли. Но вместе с тем – какова была обида! – работали не в полную творческую силу. Нашим коллегам в союз композиторов, как стало известно позднее, подобные грамоты пришли через пару дней.

В купе каждый занимался своим делом. О. Яхнин рисовал как подорванный. У него уникальный изобразительный дар – рисунок наращивал объемность, доходил до трехмерности, затем самоубийственно, из боязни натурализма – самостирался. Если вовремя не отобрать у него лист, возникал драматический вопрос законченности: сам он остановиться не мог. О качестве разрешения его персональной оптики можно судить по такому факту: двумя-тремя цветными карандашами Олег рисовал десятки. С ленинской головой, все честь по чести. Чтобы не заподозрили в фальшивомонетничестве, ставил на ассигнацию цифру не десять, а пятнадцать. Матерый БАМовский народ балдел и предлагал любые деньги «за пятнашник»: места были бедны на развлечения, а тут владелец банкноты становился бы душой любой компании. Вторым даром Яхнина было стихийное свободолюбие. Он мало что знал об устройстве нашего государственного строя. Как-то поезд остановился в открытом поле. Раздался шум снижающегося вертолета. Из него вышел человек небольшого роста, приятный аккуратным узнаваемым газетным лицом. Кирпичев с его профессиональной памятью тут же прокомментировал: «Гляди-ка, главный комсомолец». Наши вожаки поездного разлива (все как один – из комсомольской номенклатуры разных городов: работа на нашем поезде была хорошей ступенькой карьерного роста, даже на места проводниц проводился конкурс) почтительно приняли старшего под руки. Отдав рапорт, повели его по вагонам. Дошли до нашего. Вожак представляли своему начальнику нас – и все с каким-то судорожным весельем.

– Это наш композитор. Это – певец.

И тут вожак наткнулся на ничего не подозревавшего Яхнина, вышедшего из купе в коридор. Тот свободолюбиво отодвинул вожака плечом (Яхнин небольшого роста, но в юности был борцом). Обалдевшие от такой наглости поездные комсомолы, сглаживая неловкость, радостно возвестили:

– А это наш художник.

Дескать, что с него взять, имеет право на некоторую шероховатость. Главный вожак, проходя, похлопал Яхнина по плечу и бодро бросил что-то вроде:

– Ну что, художник, не подведешь, отобразишь нам БАМ?

Не таким человеком был не проспавшийся Яхнин, чтобы простить столь неуважительное отношение к себе и своему искусству.

– А пошел бы ты... на...

Комсомольцы окаменели. Мы, признаться, тоже. Объяснять Яхнину, кого он послал, было поздно, да и бесполезно: закусил удила. И тут я увидел, что такое настоящий партийный (главный комсомолец был наверняка уже членом ЦК КПСС) руководитель высшего звена. Остановиться и «стереть» Яхнина всеми своими полномочиями? Был большой шанс, что маленькие вожди настучат: потерял лицо, ввязался в конфликт с какой-то творческой шантрапой. Не заметить? Тоже чревато: куда подальше посылают, а он делает вид, что не слышит. Не справился с внештатной ситуацией. Вожак, видимо, мгновенно прокрутил это все в голове. И среагировал абсолютно профессионально, если вкладывать в это слово долгий советский опыт нежелательных, не постановочных контактов властей с реальностью. Он приостановился и посмотрел на Яхнина добрым взглядом старшего товарища. «Эх, и я был в молодости таким же неумным», – читалось в его взгляде. А вымолвил он следующее:

– Эх, художники, ершистый вы народ. А дело делаете большое.

И с этим мгновенно исчез. Класс! Гвозди бы делать из этих людей. Военный вертолет унес его в небеса. Потрясенные поездные вожди даже не стали смотреть на нас. Бесполезно.

===

В те времена неудовлетворенного спроса с БАМом была связана определенная мифология. Как будто бы там было полное товарное изобилие, где-то в лабазах на конечных станциях. Якобы залежи западных товаров, которыми государство баловало бамовцев. Моя жена Лена поддалась мифологии и решила извлечь из моей поездки хоть какую-то пользу. Она скопила рублей двести. В дорогу мне была дана дюжина семейных трусов, на каждую пару она пришила кармашек. Предполагалось, что я буду перекладывать денежки по мере смены белья. И завершу поездку на высокой ноте – куплю дубленку. Как оказалось, подобные надежды питали и другие жены. Я истратил свою заначку первым. Дальше пошли композиторы, певцы, рачительный Кирпичев держался до последнего. Тем не менее, когда где-то в конце действительно появился магазин с дубленками, денег у нас оставалось по пятерке на брата. А чего нам было откладывать, везли-то нас за казенный счет. Во времена неудовлетворенного спроса вещи, даже нательные, носились долго. Еще пару лет я, беря с полки стиранное белье, натыкался на трусы с кармашками – знак несбывшихся надежд.

===

Хотел завершить все на доброй ностальгической ноте. Ан нет! До сих пор тревожит такое вот бамовское воспоминание. Боюсь, оно будет посильнее остальных... Остановка в пути. Какой-то полустанок. Яркое освещение – фары? Стоит катерпиллер – американский бульдозер. Их много было на БАМе – нас удивлял тогда невиданный дизайн – желтое на белом (снегу). Мужиков удивляла катерпиллеровская живучесть. Слышал, как работяги на перекуре делились:

– Тут двое наших, на спор, – сколько двигатель в воде протянет? загнали пиллер в полынью. Уже и не виден почти, а фурычет, сволочь!

Так вот, в свете фар катерпиллера видим: столпились люди. Подошли. На снегу кости, отдельно выложены черепа. Шесть-семь. С пулевыми отверстиями. Мужики курят, местное начальство злится. Есть, видимо, протокол: приходится ждать соответствующие службы, что-то там зафиксировать по правилам. Дело привычное. Ударная Всесоюзная комсомольская стройка была под все подобающие фанфары объявлена только в 1974. В довоенные и послевоенные годы строили зеки. БАМлаг, Амурлаг. Перестраивая старую колею, то и дело находят захоронения. Работяги к такому привыкли, а мы увидели в первый раз. Я представил себе – положено столько-то метров промерзшей земли на столько-то человек. Отогревают землю кострами, бьют ломами. Даже если выполняют план, люди истощены и вымотаны предельно. Расходный материал – не тащить же их назад, в лагерь. Ставят в ряд. Заставляют снять бушлаты – пригодятся для следующих. Темнеет рано... Люди смотрят на звезды. Не на вохру же и

овчарок им глядеть. И все. Мы помолчали. Разошлись, не сказав друг другу ни слова. Каждый думал о своем. Вспомнился комсомольский чин, твердивший что-то там о западной контрпропаганде вокруг БАМа. Дурак! Вот они, черепа на белом насте. Какой Запад. Какая тебе еще контрпропаганда!

Честный Гайгер

Рупрехт Гайгер был глубоким – далеко за восемьдесят, но вполне бодрым, дико работоспособным и вообще правильным немецким стариком, ненавидящим все тоталитарное, официальное и пр. Вообще он был олимпиец: не только живописью занимался, но писал музыку, занимался теорией цвета и света. Он был абстракционистом, членом группы Zero. Главным его достижением был особый, авторизованный красный – необыкновенно глубокий, с каким-то технологичным, «эмалированным» оттенком. Его панно – длинная многометровая полоса этого маркированного Гайгером красного, такой вот мазок гиганта, – украшало интерьер какого-то главного немецкого правительственного здания. В его мастерской в Мюнхене я подошел к стене, украшенной красными квадратами и кругами.

– Малевич, – автоматически поинтересовался, готовясь порассуждать о влиянии русского авангарда на европейский минимализм.

– Нет, – подумав, ответил старик. – Красное небо под Вязьмой. Сорок второй...

Пыль. Рассказ доктора В. Журбы

Был у нас в студенческие годы один профессор-старичок. Старой школы. Заядлый матерщинник. Делился с нами, студентами-медиками, жизненным опытом.

– Говорил ведь домработнице: не прикасайтесь к моему столу. Нет, пришла и все протерла тряпкой. А я там пальцем по пыли наиважнейший телефон записал. Сколько раз повторять: каждая пыль должна лежать на своем месте!

Разумно. Особенно – касательно искусства.

== == ==

Кто-то из хранителей положил на стол бумажку, которую я должен подписать. Подписал машинально, а затем вчитался: «Прошу обеспечить обеспыливание ряда находящихся в фонде Отдела новейших течений и на постоянной экспозиции произведений». Дожил. И ведь правда, пора обеспыливать.

Былое

Рассказ отца. Кажется, шестидневная война. А может, и какая другая из бесконечных израильско-арабских конфликтов. Ленинградский ресторан «Астория». Кто там сидел? Мы, художники, актеры, затем – полковники по тыловой части какие-то, тенивики, фарцовщики. Публика разношерстная, по тем временам более-менее денежная. Говорим, естественно, и о политике. Осторожно. Столики некоторые прослушивались. Официанты, из прикормленных, показывали, куда сегодня садиться. Дескать, выключено. Хотя, может, и ввали. С другой стороны, что с нас взять... Тем не менее, ровно в девять часов в центре зала появлялся человек и громко, с рюмкой в руке, говорил:

– Пью за победу израильского оружия! – И выпивал.

Все съезжались. Из всех радио: о кровавых сионистских захватчиках. О всенародной поддержке миролюбивых арабских стран, подвергшихся израильской агрессии. А тут такое! Кто этот человек? Провокатор? Но никаких последующих действий вроде не предпринималось... Большой со справкой? Может быть. Через какое-то время можно было наблюдать: человека этого подзывают за столики, наливают ему, чокаются. Вот ведь крепкий экземпляр оказался: нашел-таки уникальный способ на халяву выпивать и закусывать!

– И вы ему тоже наливали?

– Естественно.

Профессионал

Забыл, из чьих мемуаров, но суть дела помню. Участник Гражданской войны, со стороны белых, вспоминает следующее. Их наступление сдерживает назойливый и точный огонь батареи красных. Наконец батарею окружили, командира взяли в плен. Деникин приказал привести пленного, ему было любопытно поглядеть на такого достойного противника. На удивление, он увидел не ожидаемого упертого комиссара, а обычного капитана-артиллериста.

– Вы по идейным соображениям у красных?

– Помилуйте, ваше превосходительство, мобилизованный я. Ради семьи пришлось. Всю войну протрубил: Галиция, Карпаты, Перемышль. Дважды ранен... Сдались мне эти красные.

– Что же вы, голубчик, так организовали огонь? Понимали ведь, в кого стреляли.

– Виноват, ваше превосходительство. Не мог по-другому. Профессионал...

Не сказано в мемуарах, что сделал Деникин с капитаном. Наверное, расстрелял. Но уверен, понял: как профессионал профессионала.

В ранней молодости мне довелось сидеть в нескольких худсоветах. Это были такие комиссии из более или менее авторитетных художников и искусствоведов (они выбирались голосованием, и только, кажется, один персонаж шел от партбюро). Вначале я просто присутствовал с совещательным голосом, как свежеиспеченный художественный руководитель комбината. По мере того, как стал печататься, начал вступать в обсуждения, сейчас и не помню, на каких правах – по молодому нахальству, или уже «из уважения». Да речь не обо мне. Худсовет принимал арт-продукцию – в производство, в тираж. Речь шла об оплате. Прошел худсовет – получай денежку, по тем временам немалую. Обстановка была демократичной – известные художники, показав свою работу, часто подсаживались к членам выставкома, высказывались, так что и не понятно было, кто есть кто. Одно было неоспоримо: присосеживались те, кто имел право. Б. Смирнов, В. Городецкий, А. Каплан, М. Вильнер, В. Вальцефер, А. Игнатьев – легенды, кто мог им помешать? Да и как: «не членов выставкома просим покинуть помещение?». Смешно. Произведения легенд, да и просто известных художников среднего поколения проходили утверждение формально. Кто бы взялся учить «дядю Толю Каплана» правильно рисовать – он отродясь не рисовал академически. Рисовал по-своему, по-каплановски. В результате получались замечательные эстампы к шолом-алейхемовским сказкам. А Герта Неменова рисовала по-неменовски. И висели в рамках по самым продвинутым интеллигентским домам ее литографированные гоголи и чарли чаплины. Вообще в этом был большой демократизм: в творческие дела больших мастеров не влезали, было понимание того, что индивидуальная поэтика важнее канона. Другое дело портреты: исторические, Ленина и членов Политбюро. Здесь все было серьезно: существовал твердый изобразительный канон, отходить от которого художник не имел права. Любопытно, что это не было спущено сверху. Вернее, только отчасти – сверху. «Там» требовали некой унификации – соответствия конвенциональным представлениям. О внешности героев. О том, чтобы во внешности передавался масштаб, соответствующий статусу героев и классиков. И – о достойной, солидной, трудоемкой – без дураков – визуализации. Все вместе сегодня называлось бы репрезентацией. Тогда – работой над образом. Сверху требовалось соответствие канону. Но сам канон блюли уже художники. Это был поучительный процесс – наверное, ничего подобного уже не будет. Я, может быть, из последних свидетелей. Вообще-то во всем творческом союзе человек с дюжину (по каждой из секций: живописной, графической и скульптурной) владели соответствующей миметико-репрезентационной техникой. «Похожесть», вопреки представлениям дилетантов, была самой легко решаемой проблемой. Каждый герой давно уже оброс соответствующей иконографией. Художники, специализирующиеся, например, на полководцах, знали внешность, хотя бы Кутузова, как свои пять пальцев. Но миметика была только внешней частью канона. «Как

вылитый», – это понятно. Но – как вылитый? Надо было – по канонам героя. Тут уже вступало в дело собственно рисование. (В других секциях, соответственно, лепка или письмо.) Оно должно было быть чуть патетическим, торжественным. Условность допускалась – в конце концов, столько лет прошло... Но условность – эмблематического, медального порядка. И, конечно, аккуратность – штрих к штриху, как волосок к волоску. Некоторые молодые скорострелы, перерисовав через кальку (в живописи – посредством проектора) известные визуальные источники и добавив отсебятины в виде бурной штриховки вокруг медальной головы, уже потирали руки.

– Да, не Доу... – Начинал кто-нибудь из членов совета.

– И даже не Лансере, – добавлял другой.

– Какой там Евгений Евгеньевич! – В сердцах говорил третий. – Тут даже Дементием Алексеевичем Шмариновым не пахнет...

– Дак ведь, – бормотал нахал, – это же классика. А у меня – массовый эстамп. Для школ всяких там...

– Для школ! – Тут же подлавливали его кутузововеды. – Думаете, Михал Илларионовича для школ можно кое-как делать...

Раз по пять приходили некоторые... А то и вообще получали от ворот поворот. Повторю, дело вовсе не в том, что все члены совета знали назубок всю иконографию Кутузова (хотя уровень насмотренности был чрезвычайно высок). Просто были люди, специализирующиеся, как в данном случае, на историческом портретном эстампе. И они требовали соблюдения каких-то цеховых норм. Не в последнюю очередь – норм инвестирования времени. Они сами прошли определенный ценз, халтура же предполагала обходные маневры. Пропустить ее – потерять в самоуважении... Было во всем этом что-то глубоко личное. Так обстояли дела с историческими персонажами. С политическими было еще строже. Все требования канона, отработанные на другом материале, соблюдались с особой тщательностью. Но были нюансы. Кутузов – тот был один на всех Кутузов. А вот Ленин был един в нескольких изводах. Был Ленин «с прищуром». Ленин «устремленный», то есть весь себе обращенный в будущее. Ленин человечный – с детьми или там на охоте. Много какой еще. На каждый извод требовался свой прием рисования. «С прищуром» предполагал некоторую даже остроту, колючий штрих, чуть ли не запах шаржа: как же, великий человек, а насмешничает, вызывает нашего брата на острый разговор. «Устремленный» – здесь поощрялась условность, обобщенность, приветствовались техники, инвестирующие ручную энергию. Как-никак человек уже в вечности, в будущем, а карандашик, пусть переведенный в литографию, – в нем непосредственное, бытовое. Другое дело – ксилография. Штрих, преодолевающий косную материю! Как будто в мироздание вгрызается! Вообще ленинской теме могли соответствовать несколько человек. Мой отец, например. Молодые и не совались. Академическая выучка была уже не та. Чисто технически не угнаться было за ленинским прищуром. Хуже всего было, когда – в силу материальной необходимости – за тему брались старики. Удивительное дело – художники легендарной силы дарования в, скажем так, ленинских вещах демонстрировали какую-то пугающую беспомощность. Не из-за фронды какой, упаси Господь. Просто рисунок переставал подчиняться.

– Валентин Иваныч, – помню, взывал отец. – Тут же веко надо встроить, веко! А куда ты руку повел! И вообще, зачем тебе портрет Маркса, ты же сказочник!

– Вот, Дима, и помоги, – веско отвечал какой-нибудь знаменитый старец. – Веко поправь. Я сам вижу – не туда пошло.

На том, как правило, и заканчивалось. У отца получалось. Даже слишком. Лучше бы он иллюстрировал своего Тургенева. Или ню рисовал. Легко сказать, я же сам, мальчишкой, ничего еще не понимая в жизни, пользовался этим «получалось». И все же – до сих пор вспоминается. Утром папа два часа в мастерской отработывает на корнпапире портрет какого-нибудь члена Политбюро, прямо для литографской печати, в тираж. По фотографии, которая при-

кноплена тут же на доске. Почему власть требовала на выходе именно эстамп, а не фотографию, загадка. Если речь шла об улучшении натуры, то и фотографию можно отретушировать добела. Зачем было столько тратиться? На идеологии не сэкономили, это правда. Но за этим стояла память о каких-то тотемных силах, не иначе. Типа – личное прикосновение художника к идолу. И, как всегда у нас, мистическое девальвировало, превращалось в рутину. Вот, к примеру, Романов. Очень ухоженный, миловидный, с ямочками. Тут был уместен даже легкий парфюмерный (сегодня бы сказали – гламурный) оттенок. А вот Громыко с тяжелым лошадиным лицом. Тут надо было акцентировать как раз тяжесть, складки неуступчивости, следы многолетней борьбы на мировой арене. Двигается карандаш, штришок к штришку, волосок к волоску. Зачем папа эти портреты делает, понимаю: заработок, то да се. Но почему так честно, так многодельно... Черт бы с ними, морщинами Громыко, надбровными дугами какого-нибудь Устинова... Попроще... Был бы папа коммунистом каким, еще можно понять. А он их всех на дух не выносил!

Только потом, через много лет, я понял кое-что про великую силу цехового притяжения. Как там в мемуарах об артиллеристе: «– Не мог по-другому. Профессионал...»

Post Scriptum. У себя в Мраморном дворце я почти каждый день встречаюсь с портретом коллекционера Людвига работы Энди Уорхола. Шелкография. Портрет открывает нашу экспозицию современного транснационального искусства, единственную, кстати, в России, – от Дж. Джонса до Дж. Кунса. Рассматриваю этот портрет подробно. У Уорхола есть целая линейка портретов меценатов и коллекционеров, заказ, как ни крути. Причем подразумевающий определенный канон уважительности: бичевать покупателя своего – слишком уж продвинуто даже для самых авангардных художников. На значение Уорхола как столпа contemporary не посягаю, речь о нашем, о заказном. Так вот, Уорхол – явно по фотографии – прорисовывает абрис, дает «необщее выражение» самыми примитивными средствами миметической доступности. Глаз, за трудоемкостью этого процесса, не вставляет совсем, просто кладет на плоскость лица, лицевые мышцы вообще не трогает, чуть намечает объем – подушечкой, как бы намекая на интеллигентскую мягкость и округлость, а затем все это перекладывает фирменными поп-артистскими цветными плашками. Ох, халтурит – вполне мог бы стать пристыженным героем незабываемой соцреалистической картины «Свежий номер цеховой газеты» живописцев Ю. Тулина и А. Левитина. Да, видно, цех у него другой. Кстати, настрогал он этих меценатов немерено. И вот что важно – с минимумом вложений энергии, особо не утруждаясь. Видно, не мог по-другому. Профессионал!

Пространство допусков

Моя бабушка всячески противилась тому, что мама из всех приличных возможных женихов выбрала моего отца, студента Академии художеств Давида. Дело было не в том, что соискатель руки ее дочери был нищим, тощим бывшим солдатиком в штанах с бахромой, – бабушка была явно выше меркантильных соображений. Конечно, ее не радовала и будущая профессия предполагаемого зятя – искусство: в ее кругах это ассоциировалось с богемой, рассеянным образом жизни, всем тем, от чего барышне из приличной семьи следовало бы держаться подальше. Нет, главным аргументом, который, конечно, она не высказывала вслух, было еврейское происхождение отца. Это принять было труднее всего в силу очевидных для нее обстоятельств: в ранней юности за представителями, от мала до велика, ее известной на Кавказе генеральской фамилии гонялись чекисты, в большинстве – с еврейскими фамилиями. Теперь, во второй половине сороковых, в воздухе пахло государственным антисемитизмом, от того ореола победительности, который окружал местечковых комиссаров в кожанках, не осталось и следа, но бабушке, видимо, трудно было избавиться от воспоминаний юности. Мама же готова была, в случае отказа, уйти с Давидом из дома. Скрепя сердце, бабушка согласилась на свадьбу. Расстроенная и дезориентированная, она попыталась найти хоть что-нибудь позитивное в сложившейся ситуации. Она сказала:

– По-крайней мере, говорят, что евреи не пьют.

Это была сакральная фраза – многие годы она сопровождала застолье с участием отца и его друзей.

===

Бывшая жена моего друга Семена Якерсона, великого знатока древнееврейских инкунабул, – ученый-социолог, культуролог и пр., – китаянка. Как-то на кафедре ее попросили дать краткое научное определение евреям. Подумав, покопавшись в собственном опыте жизни с Семочкой и общения с его друзьями, она выдала такую формулу: «Евреи – это сильно пьющий городской народ».

Так и живем, в пространстве допусков.

===

Митя Борисов открывает завтра на ул. Рубинштейна, аккурат у Малого Драматического театра, ресторан «Рубинштейн». Меня попросили рассказать что-нибудь о любом Рубинштейне. Симпатично. Я выбрал знаменитую Иду Рубинштейн и расскажу о ней. Но сегодня мне вдруг вспомнился другой Рубинштейн. Портной Гос. Филармонии. Все фраки целых поколений оркестрантов – его рук дело. Его ценил Е. А. Мравинский. Мне он перешивал вечный цигейковый кожанок, который я носил долго, от подросткового вплоть до жениховского возраста. Заслуженный человек. Однажды мама попросила меня поводить его по Русскому музею. Я уже был научным сотрудником, экскурсий не вел и хотел предложить экскурсовода – я договорюсь, он все покажет.

– Ну уж нет, – сказала мама. – Так я и сама договорюсь. Мне нужно, чтобы ты оказал ему уважение. Он – достойнейший человек.

Портной Рубинштейн оказался низеньким старичком с неисправимым южным акцентом. Он осмотрел меня критически. Пощупал кожанок, перелицованный им собственноручно лет десять тому назад. Помолчал. Двинулись. Музейные люди прекрасно понимают, что такое оказывать уважение гостям кого-либо из своих. Перед стариком раскрывали двери, раздели его в служебном гардеробе. Улыбались. Рубинштейн не робел, все эти знаки внимания воспринимал как должное. Поднялись на второй этаж. Я решил начать с экспозиции XVIII века, чтобы потом спуститься к русскому реализму и т. д. Не тут-то было. Рубинштейн никуда не торопился. Он придирчиво рассматривал портреты людей позапрошлого тогда столетия. Его взгляд останав-

ливался на мундирах, он словно ощупывал сукно и проверял качество позументов. Затем переходил на лица. Лица вояк и губернаторов, поэтов и откупщиков: на одних парики, как влитые, на других набекрень, есть и простоволосые. Краснорожие и пудренные добела, протертые и манерные – романтизм не за горами... Все это были хваткие люди, не упустившие свою фортуна!

– Это – наш человек, – вдруг отвлек меня от патетических мыслей достойнейший Рубинштейн. – И этот. И, пожалуй, этот, хоть и скрывает.

Я с ужасом посмотрел на старика и понял: он имеет в виду еврейское происхождение портретируемых.

– Помилуйте, Моисей Абрамович, – точного имени-отчества не помню, – этот – предводитель дворянства, старого рода, а этот и вовсе граф, генерал от кавалерии. Не может такого быть... По историческим причинам...

– Ты мне будешь рассказывать. Что ты вообще понимаешь? Весь в мать. Если бы я не знал твоего папу Давида, я с тобой вообще бы не разговаривал. «Не может быть»... Учить он меня будет...

Я посмотрел на портреты его глазами. Носатые, брыластые, уверенные в себе, жовиальные люди... Черт его знает, из каких они выбились низов... Какой-никакой историк, я понимал, что старик не прав. Более того, я знал, у кого из тогдашних верхов происхождение действительно подгуляло, и таких было немало. Но не у тех, на кого уверенно показывал Рубинштейн. Старик ошибался. Спорить с ним я не стал. Не имел права. В конце концов он показывал на вполне достойных людей. В чем-чем, а в людях он разбирался.

По памятным местам

Разговор в самолете. В начале 2000-х мы, русско-музейные, во главе с директором Володи Гусевым, вместе с несколькими особо любимыми нами деятелями Санкт-Петербургской культуры, повадились летывать (см. Даля) на старом винтовом самолете по культурным надобностям в разные города. Самолет был старым, но богато отделанным внутри красным деревом. Видимо, раньше предназначался для немалого начальства. Теперь дослуживал свое с нами. Вряд ли жаловался – с нами было весело, хохот долетал до пилотов, которые заходили узнать, о чем речь. Мы любили путешествовать с четой Петровых – Андреем Павловичем и Натальей Ефимовной, людьми просвещенными и веселыми. Говорили, естественно, о музыке и композиторах. Иногда в разговоре обращались ко мне как бы за подтверждением – моя мама много лет проработала в Филармонии, всех знала, и все, в том числе Петровы, знали ее. Так что я вроде был свой... Но ведь хотелось не только поддакивать, а исполнить собственную партию. Я незаметно направил разговор на тему композитора и дирижера Направника. Петровы посетовали, дескать, недооценен, полузабыт.

– Как же, – деланно удивился я. – Самый народный композитор. Самый востребованный. Просто вы, извините, мало о нем знаете. Уверен, вы, к примеру, и не слыхивали о Направнике того, что знаю я, не музыковед.

Петровы удивились такому нахальству.

– Вообще-то я специально им занималась, – веско заметила Наталья Ефимовна. Смешливый Андрей Палыч заранее улыбался, почуяв подвох.

– Так вот, ответьте мне, пожалуйста, как деятели музыкальной культуры, на простой вопрос. Когда алкаши Коломны по утрам советуются – куда пойдем? почему чаще всего решают – айда к Направнику! С чего бы это?

Петровы молча подняли руки.

– Да все просто. Во дворе дома по Крюкову каналу, номер 6, много лет был пункт приема стеклотары. (Я ничем не рисковал – моя мастерская была неподалеку, и фактуру здешней жизни я знал не понаслышке.) А аккуратно у арки, ведущей во двор, как народный ориентир – мемориальная доска «Здесь жил и скончался композитор Эдуард Францевич Направник».

Раздача слонов

В газете Financial Times есть такая колонка – урбанистический археолог. Она посвящена примерно тому, что и мы стараемся делать – раскапыванию чего-то важного для городской среды, упаси Бог, не пафосного, не назло надменному соседу, может быть, поначалу и незаметного, но способного где-то каким-то образом отозваться. Вот, к примеру, слоник. Этот слоник стоит уже почти тридцать лет. Тогда заселялись дома по Мориса Тореза, ближе к Поклонной. Дома были кооперативные, въезжали туда люди с достатком. В том числе и художники. Солидные – члены творческого союза, преподаватели, труженики художественного фонда, словом, не какая-нибудь шушера из андеграунда. Один из таких художников, преподаватель, кажется, Мухи, взял да и поставил у своего многоэтажного дома улучшенной планировки, тогда, безусловно, элитного, а по сегодняшним меркам – скромняги, прямо у крыльца поставил, чуть сбоку, небольшого такого слоника. Сам слепил из шамота, обжег, выложил что-то вроде мозаики, снова обжег. Забетонировал небольшой такой бассейнчик, не бассейнчик даже, ванночку. Как-будто для водопоя. И написал даже что-то типа: слоны любят чистую воду. Милая такая вещь. Слоник стоит, ободранный, конечно, поколениями детей, норовивших вылущить цветное стеклышко, терпит, вымоченный щелочными дождями. Вид имеет бледный. Но стоит. Тридцать лет жители дома, кажется, под сотым номером (а ведь поначалу наверняка морщились: что ему, художнику от слова худо, больше всех надо? Даже грозились разбить, даром что интеллигентные люди, да рука, видно, не поднялась, слишком предмет был безобидный), говорили гостям: наше парадное найти легче легкого, мы там, где слоник. Тридцать лет младенцы, прежде чем чуть подрасти и начать в слонике ковыряться, тянули к нему ручки, тридцать лет домашние собачки хлебали дождевую воду из емкости для слоновьего водопоя. Тридцать лет типовое, безликое разбавлялось каплей индивидуального. И вот что символично. Рядом всю трубили два комбината Художественного фонда: Скульптурный и Декоративно-прикладного искусства. Время было золотым для трудолюбивых работников правильного искусства: каждому райцентру, да что там, колхозу требовался свой истукан в кепке, выполненный в граните или в технике выколотки, домам культуры позарез нужны были шитые или расписанные в технике батик занавесы для сцены, ресторанам – гобелены и живописные панно, даже атомоходы не выходили в ледовый поход без чеканки и резьбы по дереву для кают-компаний. Специальные люди рыскали по Союзу в поисках заказов, немножко договаривались с заместителями директоров по хозяйственной части и приезжали с ворохом договоров: налетай, торопись, делись... Впрочем, самые сытные заказы сами шли в руки наиболее достойным: членам Правления творческого союза, заслуженным деятелям искусства, лауреатам. И правда – на всех ведь не напасешься такими заказами, как, скажем, памятник Тачанке для степей под Херсоном или мозаичное панно «Отступление Колчака» для дворца культуры комбината в Иркутске. И ни один (вру, два-три исключения все-таки знаю) не приложил свое декоративно-прикладное (живописно-оформительское, скульптурное и прочее) искусство к конкретному двору и дому... Вот так, не убоившись соседей, главных районных художников и прочих контролеров... без заказов и комбинатов, худсоветов и бюро секций... Какого-нибудь шамотного медвежонка, деревянного бычка, мозаичную птичку... чтобы детишки колупали пальчиками и гостям было сподручнее находить нужный подъезд... Где теперь эти комбинаты и где лауреаты, где гобелены, чеканки и прочие витражи... Не буду говорить, где... Сами знаете. А вот слоник (и два-три других произведения подобного рода, выполненных для себя и для ближнего круга, то есть со сколько-нибудь человеческим прицелом) стоит... И даже имя скромного художника выплывает в памяти – если не ошибаюсь, Прикот, Георгий Прикот... И если где-то наверху действительно происходит раздача слонов, уж он-то свой заслужил...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.